

НАУМ КОРЖАВИН

НАУМ КОРЖАВИН

*Время дано*



НАУМ КОРЖАВИН

*Время дано*

---

СТИХИ И ПОЭМЫ



Москва

«Художественная литература»

1992



---

## ОТ АВТОРА

О такой книге, как эта, в которой я смог бы предстать перед отечественным читателем таким, каков я есть, я давно уже и мечтать бросил. Время, благоприятствовавшее зарождению и появлению моих стихов, никак не благоприятствовало публикации многих из них. Правда, получается сегодня эта книга не совсем такой, как мечталась. Некоторых стихов и поэм, которые раньше не могли быть напечатаны по цензурным условиям, названия которых нередко значились в протоколах обысков, то есть написанных всерьез и без всякой оглядки, — здесь нет. Но не вошли они в эту книгу не из-за цензуры и давления, а по моей собственной воле. Слишком далеко ушел я от многого в них.

В каком-то смысле такое обращение со стихами противоречит моим собственным установкам. Я и теперь убежден, что в принципе, хотя поэт, как все люди, с годами меняется (в своих взглядах и восприятии), стихи, написанные им в определенный период его жизни, потом переоценке и переделке в этой связи не подлежат — разве что в направлении большей выраженности прежнего замысла. У них остается своя первоначальная связь с «вечностью», то есть с миром вечных ценностей, если, конечно, она вообще была присуща данным стихам. Другими словами, если они — поэзия, если они прорываются к гармонии сквозь дисгармонию бытия. То, что изменилось время и с ним ты сам, не может служить основанием для отказа от старых стихов. Так я думал раньше, да и сейчас так думаю.

Но эпоха, с которой связана моя жизнь, внесла (надеюсь, на время) в эти установки существенные коррективы. Просто потому, что внутреннее развитие человека не было свободным. Поэт, как всяческий человек, испытывал слишком плотные воздействия не только аппарата подавления, но и контролируемого «духа времени», при-

чем воздействию подвергались не только политические представления — для искусства это еще полбеда, — а элементарная шкала человеческих ценностей, естественное уважение к таким качествам, как здравый смысл, милосердие, доброта и т. п. В двадцатые годы все эти качества романтически связывались с мещанской ограниченностью — впрочем, как порой и сама романтика. Сияющая цель самим своим существованием оправдывала средства — даже при отрицании этого принципа. Романтизирован — и то, конечно, только бессознательно — мог быть только высокий и беспощадный прагматизм. Он определял тогдашнюю духовную атмосферу. В годы сталинщины осознанная и неосознанная ностальгия по этому стилю досталинской, «революционной» эпохи была нашим единственным духовным достоянием — всем, что несколько поколений моих современников могли противопоставить ее прострации. Не важно, противопоставляли ли мы этот дух тому, что мы видели вокруг себя (то есть считали ли существенным то, что видели) или, наоборот, доказывали изо всех сил себе и другим, что этот дух живет и в наших днях, только иначе преломляется в более сложной обстановке (и поэтому все, что мы видим и нам не нравится, — несущественно). Сам этот «дух» под сомнение не ставился — о возможности иных проявлений духовности мы и представления не имели. Нам было с самого начала внушено, что все иное — классовая корысть и мещанство, бескрылая заскорузлость. А какой человек — тем более считающий себя поэтом — в те годы уступил бы такой бескрылости?

Что касается меня, то я в разное время (до 1957 года, когда я окончательно стал свободным человеком) отдал дань обеим тенденциям: то скорбел о том, что революция подменена, то — три-четыре года, с 1945-го по конец 1948-го — гордился тем, что умею видеть ее продолжение «и в наших днях — лавирующих, веских» (цитата из невключенного стихотворения). Сервилизмом не было не только первое отношение к революции (оно в те годы было главным криминалом), но и второе. Ибо и то и другое цыталось отстоять себя от ликующей прострации, ставшей тогда основным признаком преданности и достоинства.

Но, сознательно и бессознательно противопоставляя себя таким образом этой прострации, мы сохраняли хотя бы номинальную верность и диалектическому отношению к элементарным нравственным ценностям, продолжали в обстановке еще более тотальной и бессмысленной жестокости традицию оправдания бесчеловечности (хотя теперь

она рикошетом ударила и по самим зачинателям этой традиции).

Конечно, практически большинство из нас ни к какой бесчеловечности отношения не имели, к ней не стремились, но в теории романтически оправдывали ее — поскольку сами, как представлялось, были причастны к миру более высоких ценностей. И причастием этим дорожили.

Здесь не место оценивать меру греховности этого соблазна — достаточно признать, что она не мала. Но об этом я надеюсь еще рассказать в автобиографической прозе, в которую, вероятно, в качестве жизненных фактов войдут и некоторые из стихов, не включенных мной в эту книгу. Они, вероятно, могут быть любопытны тем, кто заинтересуется духовно-психологической атмосферой, которой дышала молодая интеллигенция в 30-е, 40-е и в начальные 50-е годы XX века, ее исканиями впопыхах.

Но предлагаемая мной теперь читателю книга (как я во всяком случае надеюсь) явится не пособием по истории страшной и стыдной эпохи, а живым явлением **сегодняшней** поэзии. Вполне возможно, если бы какие-то из не вошедших в эту книгу стихов — и особенно роман в стихах «Начальник творчества» — печатались тогда, когда были написаны, они бы дожили до сегодняшнего дня и, естественно, вошли бы в эту книгу. Но тогда они напечатаны быть не могли, а представлять себя ими сегодня, несмотря на то, что многое в них до сих пор мне близко и дорого, значило бы совершать насилие над собой. В них есть неустрашимые места, которые противоречат всему, чем я сегодня живу, нравственной дезориентированности, которых я сегодня стыжусь. Беда не в том, что в них, допустим, излагаются неверные взгляды (в стихотворении «16 октября» дан неверный, с моей сегодняшней точки зрения, образ Сталина, но оно входит в эту книгу), а в том, что уродливое не должно вдруг выдаваться за прекрасное и наоборот. Как ни отрицай, а нравственное все-таки где-то сливается с эстетическим (безнравственное — уродливо). Беда отвергнутых мной стихов не в темах, не в так называемой «гражданственности» или историчности — история слишком непосредственно занималась каждым из нас, чтобы кто-то в той или иной мере мог искренне ее игнорировать. Возможно такое «довление современности» плохо для поэзии, но тенденциозное пренебрежение ею еще хуже. Нет, не «злободневные темы», не политические, а именно нравственные — точнее, нравственно-эстетические ошибки, — это главное, чего я не могу простить ни себе, ни тому из написанного, что их содержит.

Да, для меня — это порок, прежде всего эстетический — ведь в конечном счете это ведет к разному с естественным читательским восприятием, к которому все равно так или иначе обращается поэзия. Я отнюдь не думаю, что этим пронизано все, что написано мной в те тяжелые, смутные годы. Многие из этого я теперь печатаю. Возможно, со временем (если мои стихи доживут до этого времени, чего никто про себя знать не может) и кое-что из того, что мне сегодня в старых стихах кажется неприемлемым, сгладится. Но сегодня я никак не могу представить это на суд читателя.

Из сталинщины никто не вышел без потерь, и я не исключение. К сожалению, отражается это и на моей книге.

*Н. Коржавин*  
*Бостон, США, 3/V.90.*



*Handwritten signature*



# Вспомнить

---

\* \* \*

Еще в мальчишеские годы,  
Когда окошки бьют, крича,  
Мы шли в крестовые походы  
На Лебедева-Кумача.  
И, к цели спрятанной руля,  
Вдруг открывали, мальчуганы,  
Что школьные учителя —  
Литературные профаны.  
И, поблуждав в круженье тем,  
Прослушав разных мнений много,  
Переставали верить всем...  
И выходили  
на дорогу.

1945

## ДЕТСТВО КОНЧИЛОСЬ

Так в памяти будет: и Днепр, и Труханов,  
И малиноватый весенний закат...  
Как бегали вместе, махали руками,  
Как сердце мое обходила тоска.  
Зачем? Мы ведь вместе. Втроем. За игрою.  
Но вот вечереет. Пора уходить.  
И стало вдруг ясно: нас было не трое,  
А вас было двое. И я был один.

1941

## ПОЕЗДКА В АШУ

Ночь. Но луна не укрылась за тучами.  
Поезд несется, безжалостно скор...  
Я на ступеньках под звуки гремучие  
Быстро лечу меж отвесами гор.  
Что мне с того, что купе не со стенками:  
Много удобств погубила война,  
Мест не найти — обойдемся ступеньками.  
Будет что вспомнить во все времена.  
Ветер! Струями бодрящего холода  
Вялость мою прогоняешь ты прочь.  
Что ж! Печатлейся, голодная молодость.  
Ветер и горы, ступенька и ночь!

1942

\* \* \*

От судьбы никуда не уйти,  
Ты доставлен по списку, как прочий.  
И теперь ты укладчик пути,  
Матерящийся чернорабочий.  
А вокруг только посвист зимы,  
Только поле, где воет волчица,  
Чтобы в жизни ни значили мы,  
А для треста мы все единицы.  
Видно, вовсе ты был не герой,  
А душа у тебя небольшая,  
Раз ты злишься, что время тобой,  
Что костяшкой на счетах играет.

1943

## СТИХИ О ДЕТСТВЕ И РОМАНТИКЕ

Гуляли, целовались, жили-были...  
А между тем, гнусавя и рыча,  
Шли в ночь закрытые автомобили  
И дворников будили по ночам.  
Давил на кнопку, не стесняясь, палец,  
И вдруг по нервам прыгала волна...  
Звонок урчал... И дети просыпались,

И вскрикивали женщины со сна.  
А город спал. И наплевать влюбленным  
На яркий свет автомобильных фар,  
Пока цветут акации и клены,  
Роняя аромат на тротуар.  
Я о себе рассказывать не стану —  
У всех поэтов ведь судьба одна...  
Меня везде считали хулиганом,  
Хоть я за жизнь не выбил ни окна...  
А южный ветер навевает смелость.  
Я шел, бродил и не писал дневник,  
А в голове крутилось и вертелось  
От множества революционных книг.  
И я готов был встать за это грудью,  
И я поверить не умел никак,  
Когда насквозь неискренние люди  
Нам говорили речи о врагах...  
Романтика, растоптанная ими,  
Знамена запылённые — кругом...  
И я бродил в акациях, как в дыме.  
И мне тогда хотелось быть врагом.

*30.XII.1944*

### ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ

Мне каждое слово  
Будет уликою  
Минимум  
На десять лет.  
Иду по Москве,  
Переполненной шпиками,  
Как настоящий поэт.  
Не надо слежек!  
К чему шатания!  
А папки бумаг?  
Дефицитные!  
Жаль!  
Я сам  
Всем своим существованием —  
Компрометирующий материал!

*1944*

## ГЕЙНЕ

Была эпоха денег,  
Был девятнадцатый век.  
И жил в Германии Гейне,  
Невыдержанный человек.  
В партиях не состоявший,  
Он как обыватель жил.  
Служил он и нашим, и вашим —  
И никому не служил.  
Был острою злостью просоленным  
Его романтический стих.  
Династии Гогенцоллернов  
Он страшен был, как бунтовщик,  
А в эмиграции серой  
Ругали его не раз  
Отпетые революционеры,  
Любители догм и фраз.  
Со злобой необыкновенной,  
Как явственные грехи,  
Догматик считал измены  
И лирические стихи.  
Но Маркс был творец и гений,  
И Маркса не мог оттолкнуть  
Продельваемый Гейне  
Зигзагообразный путь.  
Он лишь улыбался на это  
И даже любил. Потому,  
Что высшая верность поэта —  
Верность себе самому.

1944

## ЗНАМЕНА

Иначе писать  
                                не могу и не стану я.  
Но только скажу,  
                                что несчастная мать.  
А может,  
                                пойти и поднять восстание?  
Но против кого его поднимать?  
Мне нечего будет  
                                сказать на митинге.



Мы родились в большой стране, в России!  
 Как механизм губами шевеля,  
 Нам толковали мысли неплохие  
 Не верившие в них учителя.  
 Мальчишки очень чуют запах фальши.  
 И многим становилось все равно.  
 Возились с фото и кружились в вальсах,  
 Не думали и жили стороной.

Такая переменная погода!  
 А в их сердцах почти что с детских лет  
 Повальный страх тридцать седьмого года  
 Оставил свой неизгладимый след.

Но те, кто был умнее и красивей,  
 Искал путей и мучился вдвойне...  
 Мы родились в большой стране, в России,  
 В запутанной, но правильной стране.  
 И знали, разобраться не умея  
 И путаясь во множестве вещей,  
 Что все пути вперед лишь только с нею,  
 А без нее их нету вообще.

1945

### 16 ОКТЯБРЯ

Календари не отмечали  
 Шестнадцатое октября,  
 Но москвичам в тот день — едва ли  
 Им было до календаря.

Все переоценилось строго,  
 Закон звериный был как нож.  
 Искали хлеба на дорогу,  
 А книги ставили ни в грош.

Хотелось жить, хотелось плакать,  
 Хотелось выиграть войну.  
 И забывали Пастернака,  
 Как забывают тишину.



Стараясь выбраться из тины,  
Шли в полированной красе  
Осатаневшие машины  
По всем западным шоссе.

Казалось, что лавина злая  
Сметет Москву и мир затем.  
И за граница, замирая,  
Молилась на Московский Кремль.

Там,  
но открытый всем, однако,  
Встал воплотивший трезвый век  
Суровый жесткий человек,  
Не понимавший Пастернака.

1945

#### ВРАГ

Что для меня этот город Сим?  
Он так же, как все, прост.  
Но там я впервые встретился с ним,  
Вставшим во весь рост.  
У этой встречи не было дня,  
Не определить дат,  
Но он не оставит уже меня,  
Наверное, никогда.  
Особых примет у него нет,  
Ведь он подобен лисе.  
Но это ведь он устроил банкет,  
Когда голодали все.  
А затем на вопросы, сверху вниз  
Отвечал, улыбаясь, слегка:  
У нас, товарищи, социализм,  
А не коммунизм пока...  
Я знаю его, он мой личный враг,  
И, сам не стремясь идти,  
Он отравляет мне каждый шаг  
На трудном моем пути.  
Он мастер пугающих громких фраз  
И ими вершит дела,  
И всех, в ком он видит хозяйский глаз,

Глушит он из-за угла.  
Но наши пути все равно прямы.  
И будет он кончен сам...  
Потому́, что хозяйева жизни — мы.  
А он — присосался к нам.

1945

### УСТАЛОСТЬ

Жить и как все, и как не все  
Мне надоело нынче очень.  
Есть только мокрое шоссе,  
Ведущее куда-то в осень.  
Не жизнь, не бой, не страсть, не дрожь,  
А воздух, полный бескорыстья,  
Где встречный ветер, мелкий дождь  
И влажные от капель листья.

1946

\* \* \*

Нет! Так я просто не уйду во мглу,  
И мне себя не надо утешать.  
Любимая потянется к теплу,  
Друзья устанут в лад со мной дышать.  
Им надоест мой бой, как ряд картин,  
Который бесконечен все равно.  
И я останусь будто бы один —  
Как сердце в теле.

Тоже ведь — одно!

1947

\* \* \*

Я с детства не любил овал,  
Я с детства угол рисовал.

*П. Коган*

Меня, как видно, Бог не звал  
И вкусом не снабдил утонченным.  
Я с детства полюбил овал,  
За то, что он такой законченный.

Я рос и слушал сказки мамы  
И ничего не рисовал,  
Когда вставал ко мне углами  
Мир, не похожий на овал.  
Но все углы, и все печали,  
И всех противоречий вал  
Я тем больше ощущаю,  
Что с детства полюбил овал.

1944

\* \* \*

Если можешь неумно  
На разболтанных путях  
Жить все время на огромных,  
Сумасшедших скоростях,  
Чтоб ветра шальной России  
Били, яростно трубя,  
Чтобы все вокруг косились  
На меня и на тебя,  
Чтобы дни темнее ночи  
И крушенья впереди...  
Если можешь, если хочешь,  
Не боишься — подходи!

1945

\* \* \*

Знаешь, тут не звезды.  
И не просто чувство.  
Только сжатый воздух  
Двигает в искусстве.

Сжатый до обиды,  
Вперекор желанью...  
Ты же вся — как выдох  
Или восклицанье.

И в мечтах абстрактных  
Страстно, вдохновенно  
Мнишь себя — в антракте  
После сильной сцены.

1945

\* \* \*

Мы мирились порой и с большими обидами,  
И прощали друг другу, взаимно забыв.  
Отчужденье приходит всегда неожиданно,  
И тогда пустяки вырастают в разрыв.  
Как обычно

поссорились мы этим

вечером.

Я ушел...

Но внезапно

среди затхлости

лестниц

Догадался, что, собственно, делать нам нечего

И что сделано все, что положено вместе.

Лишь с привычкой к теплу

расставаться не хочется...

Пусть. Но время пройдет,

и ты станешь решительней.

И тогда —

как свободу приняв одиночество,

Вдруг почувствуешь город,

где тысячи жителей.

1945

\* \* \*

Предельно краток язык земной,

Он будет всегда таким.

С другим — это значит: то, что со мной,

Но — с другим.

А я победил уже эту боль,

Ушел и махнул рукой:

С другой... Это значит: то, что с тобой,

Но — с другой.

1945

\* \* \*

Встреча — случай. Мы смотрели.

День морозный улыбался,

И от солнца акварельным

Угол Кудринки казался.  
Снег не падал. Солнце плыло...  
Я шутил, а ты смеялась...

Будто все, что в прошлом было,  
Только-только начиналось...

1945

\* \* \*

Л. Т.

Вспомнишь ты когда-нибудь с улыбкой,  
Как перед тобой,

  щемящ и тих,  
Открывался мир,—  
  что по ошибке

Не лежал ещё у ног твоих.

А какой-то

  очень некрасивый —  
Жаль, пропал —

  талантливый поэт

Нежно называл тебя Россией

И искал в глазах

  нездешний свет...

Он был прав,

  болтавший ночью синей,

Что его судьба

  предрешена...

Ты была большою,

  как Россия,

И творила то же,

  что она.

Взбудоражив широтой

  до края

И уже не в силах потушить,

Ты сказала мне:

  — Живи, как знаешь!

Буду рада,

  если будешь жить! —

Вы вдвоем

  одно творите

дело.

И моя судьба,  
                                покуда жив,  
Отдавать вам  
                                душу всю и тело,  
Ничего взамен не получив.  
А потом,  
                                совсем легко и просто  
По моей спине  
                                с простой душой  
Вдаль уйдет  
                                спокойно,  
  как по мосту,  
Кто-то  
                                безошибочно большой.  
Расскажи ему,  
                                как мы грустили,  
Как я путал  
                                разные пути...  
Бог с тобой  
                                и с той,  
  с другой Россией...  
Никуда  
                                от вас мне не уйти.

1946

\* \* \*

Есть у тех, кому нету места,  
Обаянье — тоска-змея.  
Целоваться с чужой невестой,  
Понимать, что она — твоя.  
Понимать, что некуда деться.  
Понимать, куда заведет.  
И предвидеть плохой исход.  
И безудержно падать в детство.

1946

\* \* \*

Не надо, мой милый, не сетуй  
На то, что так быстро ушла.  
Нежданная женщина эта  
Дала тебе все, что смогла.

Ты долго тоскуешь на свете,  
А всё же еще не постиг,  
Что молнии долго не светят,  
Лишь вспыхивают на миг.

1946

\* \* \*

Я пока еще не знаю,  
Что есть общего у нас.  
Но все чаще вспоминаю  
Свет твоих зеленых глаз.  
Он зеленый и победный —  
Словно пламя в глубине.  
Верно, скифы не бесследно  
Проходили по стране.

1947

\* \* \*

От дурачеств, от ума ли  
Жили мы с тобой, смеясь,  
И любовью не назвали  
Кратковременную связь,  
Приписав блаженство это  
В трудный год после войны  
Морю солнечного света  
И влиянию весны...  
Что ж! Любовь смутна, как осень,  
Высока, как небеса...  
Ну, а мне б хотелось очень  
Жить так просто и писать.  
Но не с тем, чтоб сдвинуть горы,  
Не вгрызаясь глубоко, —  
А как Пушкин про Ижоры —  
Безмятежно и легко.

1947

#### НА РЕЧНОЙ ПРОГУЛКЕ

Так нахлест настоящая вода.  
Дыши свободно, будь во всем доволен.  
Но я влюблен в большие города,  
Где много шума и где мало воли.

И только очень редко, иногда,  
Вдруг видишь, вырываясь на мгновенье,  
Что не имеешь даже представленья,  
Как пахнет настоящая вода.

1946

\* \* \*

Весна, но вдруг исчезла грязь.  
И снова снегу тьма.  
И снова будто началась  
Тяжелая зима.

Она пришла, не прекратив  
Весенний ток хмельной.  
И спутанностью перспектив  
Нависла надо мной.

1946

\* \* \*

Мир еврейских местечек...  
Ничего не осталось от них,  
Будто Веспасиан  
здесь прошел  
среди пожаров и гула.  
Сальных шуток своих  
не отпустит беспутный резник,  
И, хлеща по коням,  
не споет на шоссе балагула.  
Я к такому привык —  
удивить невозможно меня.  
Но мой старый отец,  
все равно ему выпросить надо,  
Как людей умирать  
уводили из белого дня  
И как плакали дети  
и тщетно просили пощады.  
Мой ослепший отец,  
этот мир ему знаем и мил.



И дрожащей рукой,  
потому что глаза слеповаты,  
Ощутит он дома,  
          синагоги  
                          и камни могил, —  
Мир знакомых картин,  
          из которого вышел когда-то.  
Мир знакомых картин —  
          уж ничто не вернет ему их.  
И пусть немцам дадут  
          по десятку за каждую пулю,  
Сальных шуток своих  
          все равно не отпустит резник,  
И, хлеща по коням,  
          уж не спеть никогда  
                          балагуле.

1945

### РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Вьюга воеет тончайшей свирелью,  
И давно уложили детей...  
Только Пушкин читает нозли  
Вольнодумцам неясных мастей.  
Бьют в ладоши и «браво». А вскоре  
Ветер севера трупы качал.  
С этих дней и пошло твое горе,  
Твоя радость, тоска и печаль.  
И пошло — сквозь снега и заносы,  
По годам летних засух и гроз...  
Сколько было великих вопросов,  
Принимавшихся всеми всерьез?  
Ты в кровавых исканьях металась,  
Цель забыв, затеряв вдалеке,  
Но всегда о хорошем мечтала  
Хоть за стойкою  
          вдрызг  
                          в кабаке —  
Трижды ругана, трижды воспета.  
Вечно в страсти, всегда на краю...  
За твою необузданность эту  
Я, быть может, тебя и люблю.  
Я могу вдруг упасть, опуститься

И возвыситься  
дух затая,  
Потому что во мне будет биться  
Беспокойная  
жилка твоя.

1944

### КРОПОТКИН

Все было днем... Беседы... Сходки...  
Но вот армяк мужицкий снят,  
И вот он снова — князь Кропоткин,  
Как все вокруг — аристократ.  
И вновь сам черт ему не страшен:  
Он за бокалом пьет бокал.  
Как будто снова камер-пажем  
Попал на юношеский бал.  
И снова нет беды в России,  
А в жизни смысл один — гулять.  
Как будто впрямь друзья другие  
Не ждут к себе его опять...  
И здесь друзья! Но только не с кем  
Поговорить сейчас про то,  
Что трижды встретился на Невском  
Субъект в гороховом пальто.  
И все подряд! Вчера под вечер,  
Сегодня днем и поутру...  
Приметы — тьфу!

Но эти встречи  
Бывают только не к добру.  
Пускай!

Веселью не противясь,  
Средь однокашников своих  
Пирует князь,  
богач,  
счастливец,  
Потомок Рюрика,  
жених.

1944

## СМЕРТЬ ПУШКИНА

Сначала не в одной груди  
Желанья мстить еще бурлили,  
Но прозревали: навредит!  
И, образуившись, не мстили.  
Летели кони, будто вихрь,  
В копытном цокоте: «надейся!..»  
То о красавицах своих  
Мечтали пьяные гвардейцы...  
Все — как обычно... Но в тиши  
Прадедовского кабинета  
Ломаются карандаши  
У сумасшедшего корнета.  
Он очумел. Он морщит лоб,  
Шепча слова... А трактом Псковским  
Уносят кони черный гроб  
Навеки спрятать в Святогорском.  
Пусть неусыпный бабкин глаз  
Следит за офицером пылким,  
Стихи загонят на Кавказ —  
И это будет мягкой ссылкой.  
А прочих жизнь манит, зовет.  
Балы, шампанское, пирушки...  
И наплевать, что не живет, —  
Как жил вчера — на Мойке Пушкин.  
И будто не был он убит.  
Скакали пьяные гвардейцы.  
И в частом цокоте копыт  
Им также слышалось: «надейся!..»  
И лишь в далеких рудниках  
При этой весте, бросив дело,  
Рванулись руки...  
И слегка  
Кандальным звоном зазвенело.

1944

\* \* \*

Я раньше видел ясно,  
как с экрана,  
Что взрослым стал  
и перестал глупить,  
Но, к сожаленью, никакие раны

Меня мальчишкой не отучат быть.  
И даже то,  
    что раньше, чем в журнале,  
Вполне возможно, буду я в гробу,  
Что я любил,  
    а женщины гадали  
На чет и нечет,  
    на мою судьбу.  
Упрямая направленность движений,  
В увечиях и ссадинах бока.  
На кой оно мне черт? Ведь я ж не гений —  
И ведь мои стихи не на века.  
Сто раз решал я  
    жить легко и просто,  
Забывать про все,  
    обрести покой земной...  
Но каждый раз  
    меня в единоборство  
Ведет судьба,  
    решенная не мной.  
И все равно  
    в грядущем  
        новый автор  
Расскажет, как назад немало лет  
С провинциальной тоской  
    о правде  
Метался по Москве  
    один поэт.

# В наши трудные времена

---

\* \* \*

В наши трудные времена  
Человеку нужна жена,  
Нерушимый уютный дом,  
Чтоб от грязи укрыться в нем.  
Прочный труд, и зеленый сад,  
И детей доверчивый взгляд,  
Вера робкая в их пути,  
И душа, чтоб в нее уйти.

В наши подлые времена  
Человеку совесть нужна,  
Мысли те, что в делах ни к чему,  
Друг, чтоб их доверять ему.  
Чтоб в неделю хоть час один  
Быть свободным и молодым.  
Солнце, воздух, вода, еда —  
Все, что нужно всем и всегда.

И тогда уже может он  
Дождаться иных времен.

1956

\* \* \*

О Господи!  
Как я хочу умереть,  
Ведь это не жизнь,  
а кошмарная бредь.  
Словами взывать я пытался сперва,  
Но в стенках тюремных завязли слова.

О Господи, как мне не хочется жить!  
Всю жизнь о несправедной каре тужить.  
Я мир в себе нес — Ты ведь знаешь какой!  
А нынче остался с одною тоской.

С тоскою, которая памяти гнет,  
Которая спать по ночам не дает.

Тоска бы исчезла, когда б я сумел  
Спокойно принять небогатый удел,

Решить, что мечты — это призрак и дым,  
И думать о том, чтобы выжить любым.  
Я стал бы спокойней, я стал бы бедней,  
И помнить не стал бы наполненных дней.

Но что тогда помнить мне, что мне любить,  
Не жизнь ли саму я обязан забыть?  
Нет! Лучше не надо, свиренствуй! Пускай! —  
Остаток от роскоши, память-тоска.  
Мути меня горечью, бей и кружись,  
Чтоб я не наладил спокойную жизнь.  
Чтоб все я вернул, что теперь позади,  
А если не выйдет, — вконец изведи.

1948

\* \* \*

Паровозов голоса  
И порывы дыма.  
Часовые пояса  
Пролетают мимо.  
Что ты смотришь в дым густой,  
В переплет оконный —  
Вологодский ты конвой,  
Красные погоны.  
Что ты смотришь и кричишь,  
Хлещешь матом-плеткой?  
Может, тоже замолчишь,  
Сядешь за решетку.  
У тебя еще мечты —  
Девка ждет хмельная.  
Я ведь тоже был, как ты,  
И, наверно, знаю.

А теперь досталось мне  
За грехи какие?  
Ах, судьба моя в окне,  
Жизнь моя, Россия...  
Может быть, найдет покой  
И умерит страсти...  
Может, дуростью такой  
И дается счастье.  
Ты, как попка, тут не стой,  
Не сбегу с вагона.  
Эх, дурацкий ты конвой,  
Красные погоны.

1948

### В СИБИРИ

Дома и деревья слезятся,  
И речка в тумане черна,  
И просто нельзя догадаться,  
Что это апрель и весна.  
А вдоль берегов огороды,  
Дождями набухшая грязь...  
По правде, такая погода  
Мне по сердцу нынче как раз.  
Я думал, что век мой уж прожит,  
Что беды лишили огня...  
И рад я, что ветер тревожит,  
Что тучами давит меня.  
Шаги хоть по грязи, но быстры.  
Приятно идти и дышать...  
Иду. На свободу. На выстрел.  
На все, что дерзнет помешать.

1949

\* \* \*

Стопка книг... Свет от лампы... Чисто...  
Вот сегодняшний мой уют.  
Я могу от осеннего свиста  
Ненадолго укрыться тут.  
Только свист напирает в окна.  
Я сижу. Я чего-то жду...  
Все равно я не раз промокну

И застыну на холоду.  
В этом свисте не ветер странствий  
И не поиски теплых стран,  
В нем холодная жуть пространства,  
Где со всех сторон — океан.  
И впервые боюсь я свиста,  
И впервые я сжался тут.  
Стопка книг... Свет от лампы... Чисто...  
Притаившийся мой уют.

1950

### ДРУЗЬЯМ

Бог помочь вам, друзья мои.

*А. Пушкин*

Уже прошло два года,  
два бесцельных.  
С тех пор, когда  
за юность в первый раз  
Я новый год встречал от вас отдельно,  
Хоть был всего квартала три от вас.  
Что для меня случайных три квартала!  
К тому ж метро, к тому ж троллейбус есть.  
Но между нами государство встало,  
И в ключ замка свою вложила честь.  
Как вы теперь? А я все ниже, ниже.  
Смотрю вокруг, как истинный дурак.  
Смотрю вокруг — и ничего не вижу!  
Иль, не хотя сознаться, вижу мрак.  
Я не хочу делиться с вами ночью.  
Я день любил, люблю делиться им.  
Пусть тонкий свет вина ласкает очи,  
Пусть даль светла вам видится за ним...  
Бог помочь вам.

А здесь, у ночи в зеве,  
Накрытый стол, и все ж со мною вы...  
Двенадцать бьет!

В Москве всего лишь девять.  
Как я давно уж не видал Москвы.  
Довольно!

Встать!

Здесь тосковать не нужно!



Мы пьем за жизнь!

За то, чтоб жить и жить!

И пьем за дружбу!

Хоть бы только дружбу

Во всех несчастьях жизни сохранить.

1949

### К МОЕМУ ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЮ

Я жил. И все не раз тонуло.  
И возникало вновь в душе.  
И вот мне двадцать пять минуло,  
И юность кончилась уже.

Мне неудач теперь, как прежде,  
Не встретить с легкой головой,  
Не жить веселою надеждой,  
Как будто вечность предо мной.

То есть, что есть. А страсть и пылкость  
Сойдут как полая вода...  
Стихи в уме, нелепость ссылки  
И неприкаянность всегда.

И пред непобежденным бытом  
Один, оставший от друзей,  
Стою, невгодам всем открытый,  
Прикован к юности своей.

И чтоб прижиться хоть немного,  
Покуда спит моя заря,  
Мне надо вновь идти в дорогу,  
Сначала. Будто жил я зря.

Я не достиг любви и славы,  
Но пусть не лгут, что зря бродил.  
Я по пути стихи оставил,  
Найдут — увидят, как я жил.

Найдут, прочтут, — тогда узнают,  
Как в этот век, где сталь и мгла,  
В груди жила душа живая,  
Искала, мучилась и жгла.

И, если я без славы сгину,  
А все стихи в тюрьме сожгут, —  
Слова переживут кончину,  
Две-три строки переживут.

И в них, доставив эстафету,  
Уж не пугаясь ничего,  
Приду к грядущему поэту, —  
Истоком стану для него.

1950

### В ТРУДНУЮ МИНУТУ

Хотеть. Спешить. Мечтать о том ночами!  
И лишь ползти... И не видать ни зги...  
Я, как песком, засыпан мелочами...  
Но я еще прорвусь сквозь те пески!  
Раздвину их... Вдохну холодный воздух...  
И станет мне совсем легко идти —  
И замечать по неизменным звездам,  
Что я не сбился и в песках с пути.

1950

\* \* \*

Все это чушь: в себе сомненье,  
Безволие жить, — всё ссылка, бред...  
Он пеленой оцепененья  
Мне заслонил и жизнь, и свет.  
Но пелена прорвется с треском  
Иль тихо стает, как слеза.  
В своей естественности резкой  
Ударит свет в мои глаза.  
И вновь прорвутся на свободу  
И верность собственной звезде,  
И чувство света и природы  
В ее бесстрашной полноте.

1950

## ЛЕГКОСТЬ

(За книгой Пушкина)

Все это так:

неправда,

зло,

забвенье...

Конец его друзей (его конец).

И столько есть безрадостных сердец.

А мы живём всего одно мгновенье.

Он каждый раз об это разбивался:

Взрывался... бунтовал... И — понимал.

И был он легким.

Будто лишь касался,

Как будто все не открывал, —

а знал.

А что он знал?

Что снег блестит в оконце.

Что вьюга воет. Дева сладко спит.

Что в пасмурные дни есть тоже солнце —

Оно за тучей

греет и горит.

Что есть тоска,

но есть простор для страсти.

Стихи

и уцелевшие друзья,

Что не теперь, так после будет счастье,

Хоть нам с тобой надеяться нельзя.

Да! Жизнь — мгновенье,

и она же — вечность.

Она уйдет в века, а ты — умрешь,

И надо сразу жить —

и в бесконечном,

И просто в том.

в чем ты сейчас живешь.

Он пил вино и видел свет далекий.

В глазах туман, а даль ясна... ясна...

Легко-легко... Та пушкинская легкость,

В которой тяжесть

преодолена.

1949

\* \* \*

Нелепые ваши затеи  
И громкие ваши слова...  
Нужны мне такие идеи,  
Которыми всходит трава.  
Которые воздух колышут,  
Которые зелень дают.  
Которым все хочется выше,  
Но знают и меру свою.  
Они притаились зимою,  
Чтоб к ним не добрался мороз.  
Чтоб, только запахнет весной,  
Их стебель сквозь почву пророс.  
Чтоб снова наутро беспечно,  
Вступив по наследству в права,  
На солнце,  
Как юная вечность,  
Опять зеленела трава.  
Так нежно и так настояще,  
Что — пусть хоть бушует беда —  
Ты б видел, что все — преходяще,  
А зелень и жизнь — никогда.

1950

\* \* \*

Поэзия не страсть, а власть,  
И потерявший чувство власти  
Бесплодно мучается страстью,  
Не претворяя эту страсть.  
Меня стремятся в землю вжать.  
Я изнемог. Гнетет усталость.  
Власть волновать, казнить, прощать —  
Неужто ты со мной рассталась?

1949

\* \* \*

Не верь, что ты поэта шире  
И более, чем он, в строю.  
Хоть ты решаешь судьбы мира,  
А он всего только свою.

Тебе б — в огонь. Ему — уснуть бы,  
Чтоб разойтись на миг с огнем.  
Затем, что слишком эти судьбы  
Каким-то чертом сбиты в нем.

И то, что для тебя как небо,  
Что над тобой — то у него  
Касается воды и хлеба  
И есть простое естество.

1949

\* \* \*

Хотя б прислал письмо ошибкой  
Из дальней дали кто-нибудь.  
Хотя бы женщина улыбкой  
Меня сумела обмануть, —  
Чтоб снова в смуглом, стройном теле  
Я видел солнца свет и власть,  
Чтоб в мысль высокую оделась  
Моя безвыходная страсть.

1949

### ГЕНЕРАЛ

Малый рост, усы большие,  
Волос белый и нечастый,  
Генерал любил Россию,  
Как предписано начальством.

А еще любил дорогу:  
Тройки пляс в глуши просторов.  
А еще любил немного  
Соль солдатских разговоров.

Шутки тех, кто ляжет утром  
Здесь в Крыму иль на Кавказе.  
Устоявшуюся мудрость  
В незатейливом рассказе.

Он ведь вырос с ними вместе.  
Вместе бегал по баштанам...  
Дворянин мелкопоместный,  
Сын

в отставке капитана.

У отца протекций много,  
Только рано умер — жалко.  
Генерал пробил дорогу  
Только саблей да смекалкой.

Не терпел он светской лени,  
Притеснял он интендантов,  
Но по части общих мнений  
Не имел совсем талантов.

И не знал он всяких всячин  
О бесправье и о праве.  
Был он тем, кем был назначен, —  
Был столпом самодержавья.

Жил, как предки жили прежде,  
И гордился тем по праву.  
Был мадьяр при Будапеште,  
Был поляков под Варшавой.

И с французами рубился  
В севастопольском угаре...  
Знать, по праву он гордился  
Верной службой государю.

Шел дождями и ветрами,  
Был везде, где было нужно...  
Шел он годы... И с годами  
Постарел на царской службе.

А когда эмира с ханом  
Воевать пошла Россия,  
Был он просто стариканом,  
Малый рост, усы большие.

Но однажды бывшим в силе  
Старым другом был он встречен.  
Вместе некогда дружили,  
Пили водку перед сечей...

Вместе все.

Но только скоро  
Князь отозван был в Россию,  
И пошел, по слухам, в гору,  
В люди вышел он большие.

И подумал князь, что нужно  
Старику пожить в покое,  
И решил по старой дружбе  
Все дела его устроить.

Генерала пригласили  
В Петербург от марша армий.  
Генералу предложили  
Службу в корпусе жандармов.

— Хватит вас трепали войны,  
Будет с вас судьбы солдатской,  
Все же здесь куда спокойней,  
Чем под солнцем азиатским.

И ответил строгий старец,  
Не выказывая радость:  
— Мне доверье государя —  
Величайшая награда.

А служить — пусть служба длится  
Старой должностью моею...  
Я могу еще рубиться,  
Ну, а это — не умею.

И пошел паркетом чистым  
В азиатские Сахары...  
И прослыл бы нигилистом,  
Да уж слишком был он старый.

1950

\* \* \*

Небо за пленкой серой.  
В травах воды без меры:  
Идешь травяной дорожкой,  
А сапоги мокры...  
Все это значит осень.  
Жить бы хотелось очень.  
Жить бы, вздохнуть немножко,  
Издать петушиный крик.

Дует в лицо мне ветер.  
Грудью бы горе встретить  
Или его уничтожить.  
Или же — под откос.  
Ветер остался ветром,  
Он затерялся в ветлах,  
Он только холод умножил,  
Тревогу-тщету принес.

Но все проходит на свете,  
И я буду вольным, как ветер,  
И больше не буду прикован  
К скучной точке одной.  
Тогда мне, наверно, осень  
Опять понравится очень:  
«Муза далеких странствий»,  
Листьев полет шальной.

1950

### ВОЗВРАЩЕНИЕ

Все это было, было, было...

*А. Блок*

Все это было, было, было:  
И этот пар, и эта степь,  
И эти взрывы снежной пыли,  
И этот иней на кусте.

И эти сани — нет, кибитка, —  
И этот волчий след в леске...  
И даже... даже эта пытка:  
Гадать, чем встретят вдалеке.

И эта радость молодая,  
Что все растет... Сама собой...  
И лишь фамилия другая  
Тогда была. И век другой.

Их было много: всем известных  
И не оставивших следа.  
И на века безмерно честных,  
И честных только лишь тогда.



И вспоминавших время это  
Потом, в чинах, на склоне лет:  
Снег... Кони... Юность... Море света...  
И в сердце угрызений нет.

Отбивших ссылку за пустое  
И за серьезные дела,  
Но полных светлой чистотою,  
Которую давила мгла.

Кому во мраке преисподней  
Свободный ум был светлый дан,  
Подчас светлее и свободней,  
Чем у людей свободных стран.

Их много мчалось этим следом  
На волю... (Где есть воля им?)  
И я сегодня тоже еду  
Путем знакомым и былым.

Путем знакомым — знаю, знаю —  
Все узнаю, хоть все не так,  
Хоть нынче станция сквозная,  
Где раньше выход был на тракт.

Хотя дымят кругом заводы,  
Хотя в огнях ночная мгла,  
Хоть вихрем света и свободы  
Здесь революция прошла.

Но после войн и революций.  
Под все разъевшей темнотой  
Мне так же некуда вернуться  
С душой открытой и живой.

И мне навек безмерно близки  
Равнины, что, как плат, белы, —  
Всей мглой истории российской,  
Всем блеском искр среди этой мглы.

Сочась сквозь тучи, льется дождь осенний.  
Мне надо встать, чтобы дожить свой век.  
И рвать туман тяжелых настроений  
И прорываться к чистой синеве.  
Я жить хочу. Движенья и отваги.  
Смой, частый дождь, весь сор с души моей,  
Пусть, как дорога, стелется бумага,—  
Далекий путь к сердцам моих друзей.  
Жить! Слышать рельсов радостные стоны,  
Стоять в проходе час, не проходя...  
Молчать и думать...

И в окне вагона  
Пить привкус гари  
в капельках дождя.

1950

### НА ПОБЫВКЕ

Уж заводы ощущаются  
В листве.  
Электричка приближается  
К Москве.

Эх, рязанская дороженька,  
Вокзал.  
Я бы все, коль было б можно,  
Рассказал.

Эх, Столыпин ты Столыпин,—  
Из окон  
Ясно виден твой столыпинский  
Вагон.

Он стоит спокойно в парке,  
Тихо ждет,  
Что людей конвой с овчаркой  
Подведет.

На купе разбит он четко.  
Тешит взор...  
И отбит от них решеткой  
Коридор.

В коридоре ходит парень  
Боевой,  
Вологодский, бессеребряный  
Конвой.

...Эх, рязанская дороженька,  
Легка,  
Знать, тебе твоя острожная  
Тоска.

1949

### ВСТРЕЧА С МОСКВОЙ

Что же! Здравствуй, Москва.  
Отошли и мечты и гаданья.  
Вот кругом ты шумишь,  
вот сверкаешь, светла и нова  
Блеском станций метро,  
высотой воздвигаемых зданий  
Блеск и высь подменить  
ты пытаешься тщетно, Москва.  
Ты теперь деловита,  
всего ты измерила цену.  
Плюнут в душу твою  
и прольют безнаказанно кровь,  
Сложной вязью теорий  
свою прикрывая измену,  
Ты продашь все спокойно:  
и совесть, и жизнь, и любовь.  
Чтоб никто не тревожил  
приятный покой прозябанья —  
Прозябанье Москвы,  
освященный снабженьем обман.  
Так живешь ты, Москва!  
Лжешь,  
клянешься,  
насилуешь память  
И, флиртуя с историей,  
с будущим крутишь роман.

1952

## ВСТУПЛЕНИЕ В ПОЭМУ

Ни к чему,  
ни к чему,  
ни к чему полуночные бденья  
И мечты, что проснешься  
в каком-нибудь веке другом.  
Время?  
Время дано.  
Это не подлежит обсуждению.  
Подлежишь обсуждению ты,  
разместившийся в нем.  
Ты не верь,  
что грядущее вскрикнет,  
всплеснувши руками:  
«Вон какой тогда жил,  
да, бедняга, от века зачах».  
Нету легких времен.  
И в людскую врезается память  
Только тот,  
кто пронес эту тяжесть  
на смертных плечах.  
Мне молчать надоело.  
Проходят тяжелые числа,  
Страх тюрьмы и ошибок  
И скрытая тайна причин...  
Перепутано — все.  
Все слова получили сто смыслов.  
Только смысл существа  
остается, как прежде,  
один.  
Вот такими словами  
начать бы хорошую повесть, —  
Из тоски отупенья  
в широкую жизнь переход...  
Да! Мы в Бога не верим,  
но полностью веруем в совесть,  
В ту, что раньше Христа родилась  
и не с нами умрет.  
Если мелкие люди  
ползут на поверхность  
и давят,  
Если шабаш из мелких страстей  
называется страсть,

Лучше встать и сказать,  
                                даже если тебя обезглавят,  
Лучше пасть самому,  
                                чем душе твоей в мизерность впасть.  
Я не знаю,  
                                что надо творить  
                                для спасения века,  
Не хочу оправданий,  
                                снисхожденья к себе —  
                                не прошу...  
Чтобы жить и любить,  
                                быть простым,  
                                но простым человеком —  
Я иду на тяжелый,  
                                бессмысленный риск —  
                                и пишу.

1952

\* \* \*

Мне часто бывает трудно,  
                                Но я шучу с друзьями.  
Пишу стихи и влюбляюсь.  
                                Но что-то в судьбе моей,  
Что, как на приговоренного,  
                                жалостливыми глазами  
Смотрят мне вслед  
                                на прощание жены моих друзей.  
И даже та, настоящая,  
                                чей взгляд был изнутри светел,  
Что вдыхал в меня свежий, как море,  
                                и глубокий, как море, покой:  
Истинная любимая,  
                                кого я случайно встретил,  
Обрадовалась,  
                                но вдруг застыла,  
                                столкнувшись в глазах  
  с судьбой...  
Я вами отпет заранее.  
                                Похоронен, как наяву.  
Похоронена ваша загнанная,  
                                ваша собственная душа.  
Я вами отпет заранее.

Но все-таки я живу  
И стоит того, чтоб мучаться,  
каждый день мой  
и каждый шаг.

*Калуга, 1951*

\* \* \*

Как ты мне изменяла.  
Я даже слов не найду.  
Как я верил в улыбку твою.  
Она неотделима  
От высокой любви.  
От меня.  
Но, учуяв беду,  
Ты меняла улыбку.  
Уходила куда-то с другими.  
Уносила к другим  
ощутимость своей теплоты,  
Оставляя мне лишнее —  
чувство весны и свободы.  
Как плевков — высоту!  
Не хочу я такой высоты!  
Никакой высоты!  
Только высь обнаженной природы...  
Чтоб отдаться,  
отдать,  
претвориться,  
творить наяву,  
Как растение и волк —  
если в этом излишне людское.  
Это все-таки выше,  
чем то, как я нынче живу.  
Крест неся  
человека,  
а мучась звериной тоскою.

*Калуга, 1951*

### ВЛАЖНЫЙ СНЕГ

1

Ты б радость была и свобода,  
И ветер, и солнце, и путь.  
В глазах твоих Бог и природа.

И вечная женская суть.  
Мне б нынче обнять твои ноги,  
В колени лицо свое вжать,  
Отдать половину тревоги,  
Частицу покоя вобрать.

2

Я так живу, как ты должна,  
Обязана перед судьбою.  
Но ты ведь не в ладах с собою  
И меж чужих живешь одна.  
А мне и дальше жить в огне,  
Нести свой крест, любить и путать.  
И ты еще придешь ко мне,  
Когда меня уже не будет.

3

Полон я светом, и ветром, и страстью,  
Всем невозможным, несбывшимся ранним...  
Ты — моя девочка, сказка про счастье,  
Опровержение разочарований...  
Как мы плутали,  
но нынче,  
на деле  
Сбывшейся встречей плутание снято.  
Киев встречал нас  
веселой метелью  
Влажных снежинок, больших и мохнатых.  
День был наполнен  
стремительным ветром.  
Шли мы сквозь ветер,  
часов не считая,  
И в волосах твоих,  
мягких и светлых,  
Снег оседал,  
расплывался и таял.  
Бил по лицу и был нежен.  
Казалось,  
Так вот идти нам сквозь снег и преграды  
В жизнь и победы,  
встречаться глазами,  
Чувствовать эту вот  
бьющую радость...

Двери наотмашь,  
и мир будто настезь, —  
Светлый, бескрайний, хороший, тревожный...  
Шли мы и шли,  
задыхаясь от счастья,  
Робко поверив,  
что э т о — возможно.

4

Один. И ни жены, ни друга:  
На улице еще зима,  
А солнце льется на Калугу,  
На крыши, церкви и дома.  
Блеск снега. Сердце счастья просит.  
И я гадаю в тишине,  
Куда меня еще забросит  
И как ты помнишь обо мне...  
И вновь метель. И влажный снег.  
Власть друг над другом и безвластье.  
И просветленный тихий смех,  
Чуть в глубине задетый страстью.

5

Ты появишься из двери.

*Б. Пастернак*

Мы даль открыли друг за другом,  
И мы вдохнули эту даль.  
И влажный снег родного Юга  
Своей метелью нас обдал.  
Он пахнул счастьем, этот хаос!  
Просторным — и не обоймешь...  
А ты сегодня ходишь, каясь,  
И письма мужу отдаешь.  
В чем каясь? Есть ли в чем? — Едва ли!  
Одни прогулки и мечты...  
Скорее в этой снежной дали,  
Которую вдохнула ты.  
Ломай себя. Ругай за вздорность,  
Тащись, запутавшись в судьбе.  
Пусть русской женщины покорность  
На время верх возьмет в тебе.  
Но даль — она неудержимо  
В тебе живет, к тебе зовет,  
И русской женщины решимость



Еще свое в тебе возьмет.  
И ты появишься у двери,  
Прямая, твердая, как сталь.  
Еще сама в себя не веря,  
Уже внеся с собою даль.

6

А это было в настоящем,  
Хоть начиналось все в конце...  
Был снег, затмивший все.

Кружащий.

Снег на ресницах. На лице.  
Он нас скрывал от всех прохожих,  
И нам уютно было в нем...  
Но все равно — еще дороже  
Нам даль была в уюте том.  
Сам снег был далью... Плотью чувства,  
Что нас несло с тобой тогда.  
И было ясно. Было грустно,  
Что так не может быть всегда,  
Что наше бегство — ненадолго,  
Что ждут за далью снеговой  
Твои привычки, чувство долга,  
Я сам меж небом и землей...  
Теперь ты за туманом дней,  
И вспомнить можно лишь с усилием  
Все, что так важно помнить мне,  
Что ощутимой было былью.  
И был как будто не была.  
Что ж, снег был снег... И он — растаял.  
Давно пора, уйдя в дела,  
Смириться с тем, что жизнь — такая.  
Но, если верится в успех,  
Опять кружит передо мною  
Тот, крупный, нежный, влажный снег,—  
Весь пропитавшийся весною...

1951

ЧЕРЕЗ ГОД

Милая, где ты? — повис вопрос.  
Стрелки стучат, паровоз вздыхает...  
Милая, где ты? Двенадцать верст  
Нас в этом месяце разделяет.

Так это близко, такая даль,  
Что даже представить не в состоянье...  
Я уж два раза тебя видал,  
Но я не прошел это расстояние,  
Так, чтоб суметь тебя разглядеть  
Вновь хоть немножечко...  
Стены... Стены...  
Видно, измены меняют людей,  
Видно, не красят лица измены...

1952

### НА СМЕРТЬ СТАЛИНА

Все, с чем Россия  
  в старый мир врывалась,  
Так что казалось, что ему пропасть, —  
Все было смято... И одно осталось:  
Его  
          неограниченная  
  власть.  
Ведь он считал,  
  что к правде путь —  
  тяжелый,  
А власть его  
  сквозь ложь  
  к ней приведет.  
И вот он — мертв.  
  До правды не дошел он,  
А ложь кругом трясиной нас сосет.  
Его хоронят громко и поспешно  
Ораторы,  
  на гроб кося глаза,  
Как будто может он  
  из тьмы крошечной  
Вернуться,  
  все забрать  
  и наказать.  
Холодный траур,  
  стиль речей —  
  высокий.  
Он всех давил  
  и не имел друзей...  
Я сам не знаю,  
  злым или добрым роком

Так много лет  
  он был для наших дней.  
И лишь народ  
  к нему не посторонний,  
Что вместе с ним  
  все время трудно жил,  
Народ  
  в нем революцию  
  хоронит,  
Хоть, может, он того не заслужил.  
В его поступках  
  лжи так много было,  
А свет знамен  
  их так скрывал в дыму,  
Что сопоставить это все  
  не в силах —  
Мы просто  
  слепо верили ему.  
Моя страна!  
  Неужто бестолково  
Ушла, пропала вся твоя борьба?  
В тяжелом, мутном взгляде Маленкова  
Неужто нынче  
  вся твоя судьба?  
А может, ты поймешь  
  сквозь муки ада,  
Сквозь все свои кровавые пути,  
Что слепо верить  
  никому не надо  
И к правде ложь  
  не может привести.

*Март 1953*

#### НЕВЕСТА ДЕКАБРИСТА

Уютный дом,  
  а за стеною вьюга,  
И от нее  
  слышнее тишина...  
Три дня не видно дорогого друга.  
Два дня столица слухами полна.  
И вдруг зовут...  
  В передней — пахнет стужей.  
И он стоит,  
  в пушистый снег одет...

— Зачем вы здесь?

Входите же...

Бестужев!..

И будто бы ждала —

«Прощай, Анет!..»

Ты только вскрикнешь,

боль прервет дыханье,

Повиснешь на руках,

и — миг — туман...

И все прошло...

А руки — руки няни...

И в доме тишь,

а за окном — буран.

И станет ясно:

все непоправимо.

Над всем висит

и властвует беда.

Ушел прямой,

уверенный,

любимый,

И ничему не сбыться никогда.

И потекут часы

тяжелых буден...

Как страшно знать,

что это был конец.

При имени его,

веселом, —

будет

Креститься мать

и хмуриться отец.

И окружают тебя другие люди,

Пусть часто неплохие —

что с того?

Такой свободы

строгой

в них не будет,

Веселого

не будет ничего.

Их будет жалко,

но потом уныло

Тебе самой

наедине с судьбой.

Их той

тяжелой силой

придавило,

С которой он вступал,  
 как равный, в бой.  
 И будет шепот  
 в мягких волнах вальса.  
 Но где ж тот шепот,  
 чтобы заглушил  
 «Прощай, Анет!..»  
 и холод,  
 что остался,  
 Ворвавшись в дверь,  
 когда он уходил...  
 Ты только через многие недели  
 Узнаешь приговор...  
 И станешь ты  
 В снах светлых видеть:  
 дальние метели,  
 Морозный воздух.  
 Ясность широты.  
 В кибитках,  
 шестернею запряженных,  
 Мимо родных,  
 заснеженных дубрав  
 Вот в эти сны  
 ко многим  
 едут жены...  
 Они — вольны.  
 Любимым — нету прав,  
 Но ты — жива,  
 и ты живешь невольню.  
 Руки попросит милый граф-корнет.  
 Что ж! Сносный брак.  
 Отец и мать —  
 довольны.  
 И все равно «Прощай!..  
 Прощай, Анет...».  
 И будет жизнь.  
 И будет все как надо:  
 Довольство.  
 блеск,  
 круженье при дворе...  
 Но будет сниться:  
 снежная прохлада...  
 Просторный воздух...  
 сосны в серебре.

1950



В них я к людям приду  
Рассказать про любовь и мечты,  
Про огонь и беду  
И про жизнь средь огня и беды.

В книжном шкафе резном  
Будет свет мой — живуч и глубок, —  
Обожженный огнем  
И оставшийся нежным цветком.

Пусть для этого света  
Я шел среди моря огня,  
Пусть мне важно все это,  
Но это не все для меня!

Мне важны и стихии,  
И слава на все голоса,  
И твои дорогие,  
Несущие радость глаза.

Чтобы в бурю и ветер  
И в жизнь среди моря огня  
Знать, что дом есть на свете,  
Где угол, пустой без меня.

И что если, судьбою  
Подкошенный, сгину во рву,  
Все ж внезапною болью  
В глазах у тебя оживу.

Не гранитною гранью,  
Не строчками в сердце звеня:  
Просто вдруг не достанет  
Живущего рядом — меня.

1951

\* \* \*

Вот говорят: любовь — мечты, и розы,  
И жизни цвет, и трели соловья.  
Моя любовь была сугубой прозой,  
Бедней, чем остальная жизнь моя.

Но не всегда... О нет! Какого черта!  
Я тоже был наивным, молодым.  
Влюблялся в женщин, радостных и гордых,  
И как себе не верил — верил им.

Их выделяло смутное свечение,  
Сквозь все притворство виделось оно.  
И мне они казались воплощеньем  
Того, что в жизни не воплощено.

Но жизнь стесняет рамками своими,  
Бойтся жить без рамок человек.  
И уходили все они — с другими,  
Чтоб не светясь дожить свой скромный век.

Они, наверно, не могли иначе,  
Для многих жизнь не взлет, а ремесло.  
Я не виню их вовсе. И не плачу.  
Мне не обидно. — Просто тяжело.

Я не сдавался. Начинал сначала.  
Но каждый раз проигрывал свой бой.  
И наконец любовь моя увяла  
И притворилась грубой и слепой.

Жила как все и требовала мало.  
И не звала куда-то, а брала.  
И тех же, гордых, просто побеждала...  
И только счастья в этом не нашла.

Затем, что не хватало мне свеченья,  
Что больше в них не грезилося оно.  
Что если жить, так бредить воплощеньем  
Того, что в жизни не воплощено.

Все испытал я — ливни и морозы.  
Вся жизнь прошла в страстях, в сплошном огне.  
И лишь любовь была обидной прозой...  
Совсем другой любви хотелось мне.

1958



\* \* \*

Я в сказки не верю. Не те уж года мне.  
И вдруг оказалось, что сказка нужна мне,  
Что, внешне смирившись, не верящий в чудо,  
Его постоянно искал я повсюду,  
Искал напряженно, нигде не встречая,  
Отсутствие сказки всегда ощущая...  
Все это под спудом невидное крылось,  
И все проявилось, лишь ты появилась.

1954

\* \* \*

Когда одни в ночи лесной  
Сидим вдвоем, не видя листьев,  
И ты всей светлой глубиной  
Идешь ко мне, хотя боишься,

И, позабыв минутный страх,  
Не говоря уже, что любишь,  
Вдруг замираешь на руках  
И запрокидываешь губы,

И жить и мыслить нету сил...  
Вдруг понимаю я счастливо,  
Что я свой крест не зря тащил  
И жизнь бывает справедлива.

1954

#### УТРО В ЛЕСУ

Девушка расчесывала косы,  
Стоя у брезентовой палатки...  
Волосы, рассыпанные плавно,  
Смуглость плеч туманом покрывали,  
А ступни ее земли касались,  
И лежала пыль на нежных пальцах.  
Лес молчал... И зыбкий отсвет листьев  
Зеленел на красном сарафане.  
Плечи жгли. И волосы томили.  
А ее дыханье было ровным...  
Так с тех пор я представляю счастье:  
Девушка, деревья и палатка.

1954



## ОСЕНЬ В КАРАГАНДЕ

В холоде ветра  
                                зимы напев.  
Туч небеса полны.  
И листья сохнут,  
                                не пожелтев,  
Вянут, —  
                                а зелены.  
Листьям свое не пришлось дожить.  
Смял их  
                                морозный день..  
Сжатые сроки...  
                                Идут дожди...  
Осень в Караганде.  
Новые зданья  
                                сквозь дождь  
  глядят,  
В каплях —  
                                еще нежней  
Бледный  
                                зеленый  
                                сухой наряд  
Высаженных  
                                аллей,  
И каждый  
                                свое не доживший лист  
Для сердца —  
                                родная весть.  
Деревья,  
                                как люди, —  
  не здесь родились,  
А жить приходится —  
                                здесь.  
И люди в зданьях  
                                полны забот,  
Спешат,  
                                и у всех дела...  
И людям тоже недостает  
Еще немного  
                                тепла,  
Но сроки сжаты,  
                                и властен труд,  
И надо всегда спешить...

И многие  
        так  
                на  
                        ходу  
                                умрут,  
Не зная,  
        что значит  
                        жить...  
Мы знаем...  
        Но мы разошлись с тобой.  
Не мы,  
        а жизнь развела...  
И я сохраняю  
        бережно боль,  
Как луч  
        твоего тепла.  
Но я далеко,  
        и тебя здесь нет,  
И все это —  
        тяжело.  
Как этим листьям —  
                        зеленый цвет,  
Мне нынче  
        твое тепло.  
Но сроки сжаты,  
        и властен труд,  
И глупо  
        бродить, скорбя...  
Ведь люди  
        без многого  
                        так живут,  
Как я живу  
        без тебя.

1954

### ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА НА НЕРЛИ

#### I

Нет, не с тем, чтоб прославить Россию,—  
Размышленья в тиши любя,  
Грозный князь, униживший Киев,  
Здесь воздвиг ее для себя.  
И во снах беспокойных видел  
То пожары вдоль всей земли,

То, как детство, — сию обитель  
При впаденье в Клязьму Нерли.  
Он — кто власти над Русью добился,  
Кто внушал всем боярам страх —  
Здесь с дружиной смиренно молился  
О своих кровавых грехах:  
Только враг многолик и завистлив.  
Пусть он часто ходит в друзьях.  
Очень хитрые тайные мысли  
Князь читал в боярских глазах...  
И, измучась душою грубой  
От улыбок, что лгут всегда,  
Покидал он свой Боголюбов  
И скакал на коне сюда:  
Здесь он черпал покой и холод.  
Только мало осталось дней...  
И под лестницей был заколот  
Во дворце своем князь Андрей.  
От раздоров земля стонала:  
Человеку — волк человек,  
Ну, а церковь — она стояла,  
Отражаясь в воде двух рек.  
А потом, забыв помолиться  
И не в силах унять свой страх,  
Через узкие окна-бойницы  
В стан татарский стрелял монах.  
И творили суд и расправу,  
И терпели стыд и беду.  
Здесь ордынец хлестал красавиц  
На пути в Золотую Орду.  
Каменистыми шли тропами  
Мимо церкви

к чужим краям

Ноги белые, что ступали  
В теремах своих по коврам.  
И ходили и сердцем меркли,  
Распростившись с родной землей,  
И крестились на эту церковь,  
На прощальный ее покой.  
В том покое была та малость,  
Что и надо в дорогу брать:  
Все же Родина здесь осталась,  
Все же есть о чем тосковать.  
Эта церковь светила светом  
Всех окрестных равнин и сел...

Что за дело, что церковь эту  
Некий князь для себя возвел!

## II

По какой ты скроена мерке?  
Чем твой облик манит вдали?  
Чем ты светишься вечно, церковь  
Покрова на реке Нерли?  
Невысокая, небольшая,  
Так подобрана складно ты,  
Что во всех навек зароняешь  
Ощущение высоты...  
Так в округе твой очерк точен,  
Так ты здесь для всего нужна,  
Будто создана ты не зодчим,  
А самой землей рождена.  
Среди зелени — белый камень,  
Луг, деревья, река, кусты.  
Красноватый закатный пламень  
Набежал — и зарделась ты.  
И глядишь доступно и строго,  
И слегка синеешь вдали...  
Видно, предки верили в Бога,  
Как в простую правду земли.

1954

\* \* \*

Я не был никогда аскетом  
И не мечтал сгореть в огне.  
Я просто русским был поэтом  
В года, доставшиеся мне.  
Я не был сроду слишком смелым.  
Или орудьем высших сил.  
Я просто знал, что делать. Делал,  
А было трудно — выносил.  
И если путь был слишком труден,  
Суть в том, что я в той службе служб  
Был подотчетен прямо людям,  
Их душам и судьбе их душ.  
И если в этом — главный кто-то



Другие наступают времена.  
С глаз наконец спадает пелена.  
А ты, как за постыдные грехи,  
Ругаешь за рассудочность стихи.

Но я не рассуждал. Я шел ко дну.  
Смотрел вперед, а видел пелену.  
Я ослеплен быть мог от молний-стрел.  
Но я глазами разума смотрел.

И повторял, что в небе небо есть  
И что земля еще на месте, здесь.

Что тут пучина, ну, а там — причал.  
Так мне мой разум чувства возвращал.

Нет! Я на этом до сих пор стою.  
Пусть мне простят рассудочность мою.

1956

\* \* \*

Я жил не так уж долго,  
Но вот мне тридцать лет.  
Прожить еще хоть столько  
Удастся или нет?  
Дороже счет минутам:  
Ведь каждый новый год  
Быстрее почему-то  
Чем прошлый год, идет...  
Бродил я белым светом  
И жил среди живых...  
И был везде поэтом,  
Не числясь в таковых.  
Писал стихи, работал  
И был уверен в том,  
Что я свое в два счета  
Сумею взять потом —  
Потом, когда событья  
Пойму и воплощу,  
Потом, когда я бытом  
Заняться захочу.  
Я жил легко и смело,  
Бока — не душу — мял,



А то, что есть пределы,  
Абстрактно представлял...  
Но никуда не деться, —  
Врываясь в мысль и страсть,  
Неровным стуком сердце  
Вершит слепую власть.  
Не так ночами спится,  
Не так свободна грудь,  
И надо бы о быте  
Подумать как-нибудь.  
Советуюсь со всеми,  
Как быть, чтоб мне везло?  
Но жалко тратить время  
На это ремесло...

1956

### ТРУБАЧИ

Я с детства мечтал, что трубач затрубит,  
И город проснется под цокот копыт,  
И все прояснится открытой борьбой:  
Враги — пред тобой, а друзья — за тобой.

И вот самолеты взрехали в ночи,  
И вот протрубили опять трубачи,  
Тачанки и пушки прошли через грязь,  
Проснулось геройство, и кровь пролилась.  
Но в громе и славе решительных лет  
Мне все ж не хватало заметных примет.  
Я думал, что вижу, не видя ни зги,  
А между друзьями сновали враги.  
И были они среди наших колонн,  
Подчас знаменосцами наших знамен.

Жизнь бьет меня часто. Сплеча. Сгоряча.  
Но все же я жду своего трубача.  
Ведь правда не меркнет и совесть — не спит.  
Но годы уходят, а он — не трубит.  
И старость подходит. И хватит ли сил  
До смерти мечтать, чтоб трубач затрубил?

А может, самим надрываться во мгле?  
Ведь нет, кроме нас, трубачей на земле.

1955

Надоели потери.  
Рознь религий — пуста,  
В Магомета я верю  
И в Иисуса Христа.

Больше спорить не буду  
И не спорю давно,  
Моисея и Будду  
Принимая равно.

Все, что теплится жизнью,  
Не застыло навек...  
Гордый дух атеизма  
Чту — коль в нем человек.

Точных знаний и меры  
В наши нет времена.  
Чту любую я Веру,  
Если Совесть она.

Только чтить не годится  
И в кровавой борьбе  
Ни костров инквизиций,  
Ни ночей МГБ

И ни хитрой дороги,  
Пусть для блага она, —  
Там под именем Бога  
Правит Суд сатана.

Человек не бумага —  
Стер, и дело с концом.  
Даже лгущий для блага —  
Станет просто лжецом.

Бог для сердца отрада,  
Человечья в нем статья.  
Только дьяволов надо  
От богов отличать.

Могший верить и биться,  
Той науке никак  
Человек обучиться  
Не сумел за века.

Это в книгах и в хлебе  
И в обычной судьбе.  
Черт не в пекле, не в небе —  
Рядом с Богом в тебе.

Верю в Бога любого  
И в любую мечту.  
В каждом — чту его Бога,  
В каждом — черта не чту.

Вся планета больная...  
Может, это — навек?  
Ничего я не знаю.  
Знаю: Я человек.

1956

\* \* \*

И с миром утвердилась связь.

*А. Блок*

Всё будет, а меня не будет,—  
Через неделю, через год...  
Меня не берегите, люди,  
Как вас никто не бережет.  
Как вы, и я не выше тлена.  
Я не давать тепла не мог.  
Как то сожженное полено.  
Угля сожженного комок.

И счета мы сведем едва ли.  
Я добывал из жизни свет,  
Но эту жизнь мне вы давали,  
А ничего дороже нет.

И пусть меня вы задушили  
За счастье быть живым всегда,  
Но вы и сами ведь не жили,  
Не знали счастья никогда.

1957

## ОСЕНЬ

Вода в колеях среди тощей травы,  
За тучею туча плывет дождевая.  
В зеленом предместье предместья Москвы  
С утра моросит. И с утра задувает.  
А рядом дорога. И грохот колес.  
Большие заводы. Гудки электрички.  
Я здесь задержался.

Живу.

Но не врос.



Шла вновь назад в свою судьбу плохую.  
 Решительно. Свирепо. Чуть дыша...  
 Борюсь с тоской и жалобно тоскую,  
 Всем, что в ней было, мне принадлежа.  
 Шла с праздника судьбы в свой дом убогий.  
 Шла противозаконно в дом не мой.  
 Хотя моими были даже ноги,  
 Которые несли ее домой.

1958

### ЛЕНИН В ГОРКАХ

Пусть много смог ты, много превозмог  
 И даже мудрецом меж нами признан.  
 Но жизнь — есть жизнь. Для жизни ты не Бог,  
 А только проявление этой жизни.  
 Не жертвуй светом, добывая свет!  
 Ведь ты не знаешь, что творишь на деле.  
 Цель средства не оправдывает... Нет!  
 У жизни могут быть иные цели.  
 Иль вовсе нет их. Есть пальба и гром.  
 Мир и война. Гниенье и горенье.  
 Извечная борьба добра со злом,  
 Где нет конца и нет искорененья.  
 Убить. Тут надо ненависть призвать.  
 Преодолеть черту. Найти отвагу.  
 Во имя блага проще убивать!..  
 Но как нам знать, какая смерть во благо?  
 У жизни свой, присущий, вечный ход.  
 И не присуща скорость ей иная.  
 Коль чересчур толкнуть ее вперед,  
 Она рванет назад, давя, ломая.  
 Но человеку душен плен границ,  
 Его все время нетерпенье гложет,  
 И перед жизнью он склониться ниц, —  
 Признать ее незыблемость — не может.  
 Он все отдать, все уничтожить рад.  
 Он мучает других и голодает...  
 Все гонится за призраком добра,  
 Не ведая, что сам он зло рождает.  
 А мы за ним. Вселенная, держись!  
 Нам головы не жаль — нам все по силам.

Но все проходит. Снова жизнь как жизнь.  
И зло как зло. И, в общем, все как было.  
Но тех, кто не жалел себя и нас,  
Пытаясь вырваться из плена буден,  
В час отрезвленья, в страшный горький час  
Вы все равно не проклинайте, люди...

...В окне широком свет и белый снег.  
На ручках кресла зайчики играют...  
А в кресле неподвижный человек. —  
Молчит. Он знает сам, что умирает.  
Над ним любовь и ненависть горит.  
Его любой врагом иль другом числит.  
А он уже почти не говорит.  
Слова ушли. Остались только мысли.  
Смерть — демократ. Подводит всем черту.  
В ней беспристрастье есть, как в этом снеге.  
Ну что ж: он на одну лишь правоту  
Из всех возможных в жизни привилегий  
Претендовал... А больше ни на что.  
Он привилегий и сейчас не просит.  
Парк за окном стоит, как лес густой,  
И белую порошу ветер носит.  
На правоту... что значит правота?  
И есть ли у нее черты земные?  
Шумят-гудят за домом провода,  
И мирно спит, уйдя в себя, Россия.  
Ну что ж! Ну что ж! Он сделал все, что мог,  
Устои жизни яростно взрывая...  
И все же не подводятся итог. —  
Его, наверно, в жизни — не бывает.

1956

\* \* \*

Роса густа, а роща зелена,  
И воздух чист, лишь терпко пахнет хвоя...  
Но между ними и тобой — стена.  
И ты уже навек за той стеною.

Как будто трудно руку протянуть,  
Все ощутить, проснуться, как от встряски...  
Но это зря — распалась жизни суть,  
А если так, то чем помогут краски?

Зачем в листве искать разводья жил  
И на заре бродить в сыром тумане...  
Распалось все, чем ты дышал и жил,  
А эта малость стоит ли вниманья.

И равнодушьем обступает тьма.  
Стой! Встрепенись! Забудь о всех потерях,  
Ведь эта малость — это жизнь сама,  
Ее начало и последний берег.

Тут можно стать, весенний воздух пить  
И, как впервые, с лесом повстречаться...  
А остального может и не быть,  
Все остальное может здесь начаться.

Так не тверди: не в силах, не могу!  
Войди во всё, пойми, что это чудо,  
И задержись на этом берегу!..  
И, может, ты назад пойдешь отсюда.

1958

### ПЕСНЯ, КОТОРОЙ ТЫСЯЧА ЛЕТ

Это старинная песня,  
которая вечно нова.

*Г. Гейне*

Старинная песня.  
Ей тысяча лет:  
Он любит ее,  
А она его — нет.

Столетия сменяются,  
Вьюги метут,  
Различными думами  
Люди живут.

Но так же упрямо  
Во все времена  
Его почему-то  
Не любит она.

А он — и страдает,  
И очень влюблен...



Но только, позвольте,  
Да кто ж это — он?

Кто? — Может быть, рыцарь,  
А может, поэт,  
Но факт, что она —  
Его счастье и свет.

Что в ней он нашел  
Озаренье свое,  
Что страшно остаться  
Ему без нее.

Но сделать не может  
Он здесь ничего...  
Кто ж это она,  
Что не любит его?

Она? — Совершенство.  
К тому же она  
Его на земле  
Понимает одна.

Она всех других  
И нежней и умней.  
А он лучше всех  
Это чувствует в ней...

Но все-таки, все-таки  
Тысячу лет  
Он любит ее,  
А она его — нет.

И все же ей по сердцу  
Больше другой —  
Не столь одержимый,  
Но все ж неплохой.

Хоть этот намного  
Скучнее того  
(Коль древняя песня  
Не лжет про него).

Но песня все так же  
Звучит и сейчас,

А я ведь о песне  
Веду свой рассказ.

Признаться, я толком  
И сам не пойму:  
Ей по сердцу больше другой...  
Почему?

Так глупо  
Зачем выбирает она?  
А может, не скука  
Ей вовсе страшна?

А просто как люди  
Ей хочется жить...  
И холодно ей  
Озареньем служить.

Быть может... Не знаю.  
Ведь я же не Бог.  
Но в песне об этом  
Ни слова. Молчок.

А может, и рыцарь  
Вздыхать устает.  
И сам наконец  
От нее отстает.

И тоже становится  
Этим другим —  
Не столь одержимым,  
Но все ж неплохим.

И слышит в награду  
Покорное: «да»...  
Не знаю. Про то  
Не поют никогда.

Не знаю, как в песне,  
А в жизни земной  
И то и другое  
Случалось со мной.

Так что ж мне обидно,  
Что тысячу лет  
Он любит ее,  
А она его — нет?

1958

## БАЛЛАДА О СОБСТВЕННОЙ ГИБЕЛИ

Я — обманутый в светлой надежде,  
Я — лишенный Судьбы и души, —  
Только раз я восстал в Будапеште  
Против наглости, гнета и лжи.

Только раз я простое значенье  
Громких фраз ощутил наяву.  
Но потом потерпел поражение  
И померк. И с тех пор — не живу.

Грубой силой — под стоны и ропот —  
Я убит на глазах у людей.  
И усталая совесть Европы  
Примирилась со смертью моей.

Только глупость, тоска и железо...  
Память — стерта. Нет больше надежд.  
Я и сам никуда уж не лезу...  
Но не предал я свой Будапешт.

Там однажды над страшною силой  
Я поднялся — ей был несродни.  
Там и пал я... Хоть жил я в России. —  
Где поныне влачу свои дни.

1956

\* \* \*

Я пью за свою Россию,  
С простыми людьми я пью.  
Они ничего не знают  
Про страшную жизнь мою.  
Про то, что рожден на гибель  
Каждый мой лучший стих...  
Они ничего не знают,  
А эти стихи для них.

1956

Пусть рвутся связи, меркнет свет,  
Но подрастают в семьях дети...  
Есть в мире Бог иль Бога нет,  
А им придется жить на свете.

Есть в мире Бог иль нет Его,  
Но час пробьет. И станет нужно  
С людьми почувствовать родство,  
Заполнить дни враждой и дружбой.

Но древний смысл того родства  
В них будет брезжить слишком глухо —  
Ведь мы бессвязные слова  
Им оставляем вместо духа.

Слова трусливой суеты,  
Нас утешавшие когда-то,  
Недостоверность пустоты,  
Где зыбки все координаты...

...Им все равно придется жить:  
Ведь не уйти обратно в детство,  
Ведь жизнь нельзя остановить,  
Чтоб в ней спокойно оглядеться.

И будет участь их тяжка,  
Времен прервется связь живая,  
И одиночества тоска  
Обступит их, не отставая.

Мы не придем на помощь к ним  
В борьбе с бессмыслицей и грязью.  
И будет трудно им одним  
Найти потерянные связи.

Так будь самим собой, поэт,  
Твой дар и подвиг — воплощенье.  
Ведь даже горечь — это свет,  
И связь вещей, и их значенье.

Держись призванья своего!  
Ты загнан сам, но ты в ответе:  
Есть в мире Бог иль нет Его —  
Но подрастают в семьях дети.



Хотел он далеко  
Бежать. Не смог, не скрылся.  
А я б теперь легко  
С той долей примирился.

И был бы мной воспет  
По самой доброй воле  
Тот мир, где счастья нет,  
Но есть покой и воля.

Что в громе наших лет  
Звучало б так отчасти:  
«На свете счастья нет,  
Но есть на свете счастье».

1960

### ВАРИАЦИИ ИЗ НЕКРАСОВА

...Столетье промчалось. И снова,  
Как в тот незапамятный год —  
Коня на скаку остановит,  
В горящую избу войдет.  
Ей жить бы хотелось иначе,  
Носить драгоценный наряд...  
Но кони — всё скачут и скачут.  
А избы горят и горят.

1960

\* \* \*

Наверно, я не так на свете жил,  
Не то хотел и не туда спешил.  
А надо было просто жить и жить  
И никуда особо не спешить.  
Ведь от любой несбывшейся мечты  
Зияет в сердце полость пустоты.

Я так любил. Я так тебя берег.  
И так ничем тебе помочь не мог.  
Затем, что просто не хватало сил.  
Затем, что я не так на свете жил.  
Я жил не так. А так бы я живи,—  
Ты б ничего не знала о любви.

1960

Ты сама проявила похвальное рвенье,  
Только ты просчиталась на самую малость.  
Ты хотела мне жизнь ослепить на мгновенье,  
А мгновение жизнью твоей оказалось.  
Твой расчет оказался придуманным вздором.  
Ты ошиблась в себе, а прозренье — расплата.  
Не смогла ты холодным блеснуть метеором,  
Слишком женщиной — нежной и теплой —  
была ты.

Ты не знала про это, но знаешь сегодня,  
Заплативши за знание высокую цену.  
Уходила ты так, будто впрямь ты свободна,  
А вся жизнь у тебя оказалась изменой.  
Я прощаюсь сегодня с несчастьем и счастьем,  
Со свиданьями тайными в слякоть сплошную,  
И с твоим увяданьем. И с горькою властью  
Выправлять твое тело одним поцелуем...

Тяжело, потому что прошедшие годы  
Уж другой не заполнишь, тебя не забудешь,  
И что больше той странной, той ждущей чего-то  
Глухой девочкой — ни для кого ты не будешь.

1960

### РАФАЭЛЮ

*(После спора об искусстве)*

Не ценят знания тонкие натуры.  
Искусство любит импульсов печать.

Мы ж, Рафаэль, с тобой — литература!  
И нам с тобой здесь лучше промолчать.

Они в себе себя ценить умеют.  
Их мир — оттенки собственных страстей.  
Мы ж, Рафаэль, с тобой куда беднее —  
Не можем жить без Бога и людей.

Их догмат — страсть. А твой — улыбка счастья.  
Твои спокойно сомкнуты уста.  
Но в этом слиты все земные страсти,  
Как в белом цвете слиты все цвета.  
1960

### ИНЕРЦИЯ СТИЛЯ

Стиль — это человек.  
*Бюффон*

В жизни, искусстве, борьбе, где тебя победили,  
Самое страшное — это инерция стиля.  
Это — привычка, а кажется, что ощущение.  
Это стихи ты закончил, а нет облегченья.  
Это — ты весь изменился, а мыслишь как раньше.  
Это — ты к правде стремишься, а лжешь как  
обманщик.

Это — душа твоя стонет, а ты — не внимаешь.  
Это — ты верен себе и себе изменяешь.  
Это — не крылья уже, а одни только перья,  
Это — уже ты не веришь — боишься неверья.

Стиль — это мужество. В правде себе признаваться!  
Все потерять, но иллюзиям не предаваться —  
Кем бы ни стать — ощущать себя только собою,  
Даже пускай твоя жизнь оказалась пустою,  
Даже пускай в тебе сердца теперь уже мало...  
Правда конца — это тоже возможность начала.  
Кто осознал поражение, — того не разбили...

Самое страшное — это инерция стиля.  
1960

\* \* \*

Ни трудом и ни доблестью  
Не дорос я до всех.  
Я работал в той области,  
Где успех — не успех.  
Где тоскуют неделями,  
Коль теряется нить,  
Где труды от безделия



Нелегко отличить...  
Но куда же я сунулся?  
Оглядеться пора!  
Я в годах, а как в юности —  
Ни кола, ни двора,  
Ни защиты от подлости,—  
Лишь одно, как на грех:

Стаж работы в той области,  
Где успех — не успех...

1960

## КОМИССАРЫ

(Элегия)

*Булату Окуджаве*

Где вы, где вы?  
В какие походы  
Вы ушли из моих городов?..  
Комиссары двадцатого года,  
Я вас помню с тридцатых годов.  
Вы вели меня в будни глухие,  
Вы искали мне выход в аду,  
Хоть вы были совсем не такие,  
Как бывали в двадцатом году.  
Озаренней, печальнее, шире,  
Непригодней для жизни земной...  
Больше дела вам не было в мире,  
Как в тумане скакать предо мной.  
Словно все вы от части отстали,  
В партизаны ушли навсегда...  
Нет, такими вы не были — стали,  
Продираясь ко мне сквозь года.  
Вы легко побеждали, но все же  
Оставались всегда ни при чем.  
Лишь в Мадриде встречали похожих,  
Потому что он был обречен.  
О, как вы отрешенно скакали,  
Зная правду, но веру храня.  
И меня за собой увлекали,  
Отрывали от жизни меня...  
И летел я, коня погоняя,  
Прочь куда-то в пыли и в дыму.  
Почему — я теперь уже знаю,

А куда — до сих пор не пойму.  
Я не думал о вашей печали,  
Я скорбел, что живу как во сне,  
Но однажды одни вы умчались  
И с тех пор не являлись ко мне.  
И пошли мои взрослые годы...  
В них не меньше любви и огня...  
Но скажите, в какие походы  
Вы идете теперь — без меня?

1960

### ЛЕНИНГРАД

Он был рожден имперской стать столицей.  
В нем этим смыслом все озарено.  
И он с иною ролью примириться  
Не может.

И не сможет все равно.

Он отдал дань надеждам и страданиям.  
Но прежний смысл в нем все же не ослаб.  
Имперской власти не хватает зданьям,  
Имперской властью грезит Главный Штаб.

Им целый век в иной эпохе прожит.  
А он грустит, хоть эта грусть — смешна.  
Но камень изменить лица не может,—  
Какие б ни настали времена.  
В нем смысл один,— неистребимый, главный,  
Как в нас всегда одна и та же кровь.  
И Ленинграду снится скинтр державный,—  
Как женщине покинутой —  
любовь.

1960

\* \* \*

Пусть с каждым днем тебе труднее —  
И сам ты плох, и все — не так,  
Никто тебя не пожалеет,  
Когда прочтет о том в стихах.

Как жить на свете ни мешали б,  
Как дни бы ни были трудны,  
Чужие жалобы скучны:  
Поэзия — не книга жалоб.

.....

Но все застынут пред тобою,  
Когда ты их — себя скрепя —  
Ожгешь необходимой болью,  
Что возвращает всем — себя.

1960

\* \* \*

Он собирался многое свершить,  
Когда б не знал про мелочное бремя.  
А жизнь ушла  
на то, чтоб жизнь прожить.  
По мелочам.

Цените, люди, время.  
Мы рвемся к небу, ползаем в пыли,  
Но пусть всегда, везде горит над всеми:  
Вы временные жители земли!  
И потому — *цените, люди, время!*

1961

### ДЕТИ В ОСВЕНЦИМЕ

Мужчины мучили детей.  
Умно. Намеренно. Умело.  
Творили будничное дело,  
Трудились — мучили детей.

И это каждый раз опять, —  
Кляня, ругаясь без причины...  
И детям было не понять,  
Чего хотят от них мужчины.

За что — обидные слова,  
Побои, голод, псов рычанье?  
И дети думали сперва,  
Что это за непослушанье.

Они представить не могли  
Того, что было всем открыто:  
По древней логике земли,  
От взрослых дети ждут защиты.

А дни все шли, как смерть страшны,  
И дети стали образцовы,  
Но их все били.

Так же.  
Снова.

И не снимали с них вины.

Они хватались за людей.  
Они молили. И любили.  
Но у мужчин идеи были,  
Мужчины мучили детей.

Я жив. Дышу. Люблю людей,  
Но жизнь бывает мне постыла,  
Как только вспомню: это — было.  
Мужчины мучили детей.

1961

\* \* \*

У меня любимую украли,  
Втолковали хитро ей свое.  
И вериги долга и морали  
Радостно надели на нее.

А она такая ж, как и прежде,  
И ее теперь мне очень жаль.  
Тяжело ей — нежной — в той одежде,  
И зачем ей — чистой — та мораль.

1961

\* \* \*

Брожу целый день по проспектам прямым  
И знаю — тут помнят меня молодым.  
Веселым. Живущим всегда нелегко,  
Но верящим в то, что шагать — далеко.  
Что если пока и не вышел я в путь,  
Мне просто мешают, как надо, шагнуть.

Но только дождусь я заветного дня,  
Шагну — и никто не догонит меня.

Я ждал. Если молод — надейся и жди.  
А город — он тоже был весь впереди.  
Он рос, попирая засохший ковыль.  
В нем ветер крутил августовскую пыль.  
Он не был от пыли ничем защищен...  
Но верил, надеялся, строился он.

И я не страданьем здесь жил и дышал.  
Напор созиданья меня заражал.  
И был он сильнее неправды и зла...  
А может быть, все это юность была.  
Но если кручина являлась во сне,  
Причина была не во мне, а вовне.

Так было... А после я жил как хотел  
И много исполнил задуманных дел.  
И многое понял. И много пронес.  
И плакал без слез. И смеялся до слез.  
И строки руками таскал из огня...  
(За что теперь многие любят меня.)  
Был счастлив намеком, без злобы страдал.  
И даже не знал, что с годами устал.

Но вдруг оказалось, что хочется в тень,  
Что стало дышать мне и чувствовать лень.

Вот нынче в какую попал я беду!  
Никто не мешает — я сам не иду.  
И снова кручина. Я вновь как во сне.  
Но только причина — теперь не вовне...

...И вот я, как в юность, рванулся сюда.  
В мой город... А он — не такой, как тогда.  
Он в зрелую пору недавно вступил,  
Он стал властелином в притихшей степи.  
И пыль отступила пред ростом его.  
И больше не надо напора того,  
Который спасал меня часто тогда.  
Того, за которым я ехал сюда.

Здесь был неуют, а теперь тут — уют.  
Здесь трезвые парочки гнездышки вьют.  
И ищут спокойно, что могут найти.  
И строят свой город с восьми до пяти.  
А кончат — и словно бы нет их в живых —

Душой отдыхают в квартирах своих.  
И всё у них дома — и сердце и мысль.  
А если выходят — так только пройтись.

Работа и отдых! На что ж я сержусь?  
Не знаю — я сам не пойму своих чувств.  
Я только брожу по проспектам прямым,

По городу, бывшему раньше моим,  
И с каждым кварталом острее сознаю,  
Что ВРЕМЯ закончило юность мою.  
И лучше о прежнем не думать тепле —  
По-новому счастья искать на земле.

*Август—сентябрь 1961 — Караганда  
Найдено и доработано 19—20 мая 1968 года — Москва*

### КАТАЛОГ «СОВРЕМЕННЫХ ЗАПИСОК»

*(Памяти Марины Цветаевой)*

Поколение, где краше  
Был — кто жарче страдал.

*М. Цветаева*

Тут не шепот гадалок:  
Мол, конец уже близок —  
Мартиролог — каталог  
«Современных записок».

Не с изгнанием свыкались,  
Не страдали спесиво —  
Просто так, задыхались  
Вдалеке от России.

Гнет вопросов усталых:  
«Ах, когда ж это будет?»  
Мартиролог — каталог  
Задохнувшихся судеб.

Среди пошлости сытой  
И презренья к несчастью —  
Мартиролог открытий,  
Верных только отчасти.

Вера в разум среди ночи,  
Где не лица, а рожи, —  
Мартиролог пророчеств.  
Подтвердившихся. Позже.



Нас держит пространство одно...  
Казалось вещественным, плотным  
И было надежным оно.  
А город навстречу бросался,  
Вздымался, стоял под углом  
И снова лежал... И казался  
Пунктирным большим чертежом.  
Он был необъятным простором,  
Скоплением холодных светил,  
Мой город... Тот самый, в котором  
Три года я временно жил.  
Да, временно... Все это было  
Лишь временно в жизни моей.  
Да, временно... Дни торопил я,  
Чтоб время прошло поскорей.  
И все это даже не странно.  
Но кто объяснит, почему  
Из жизни своей постоянной  
Мечтал я вернуться к нему.  
Зачем, позабыв про усталость,  
Тот город я видел во сне...  
Знать, время прошло... Но осталось,  
Как все остается во мне.

Тут, с юным покончив бесстрашьем,  
Мне бросив: «Счастливо живи!» —  
Девчонка по воле мамыши  
Сбежала в начале любви...  
Веселой была и спокойной,  
Игры, любопытства полна...  
И всей моей жизни нестройность  
Легко устраняла она.  
Теперь у ней все, что ей нужно:  
Семья, и работа; и быт.

И может, сейчас, перед службой,  
Здесь, где-то внизу, она спит.  
И пусть я совсем не обязан  
Прощать ей побег из мечты,  
Я — помню! С ней жизнью я связан, —  
А жизнь оставляет следы!

.....

Качается скопище света,  
То встанет, то прянет назад.



Но даже не зная про это,  
Друзья мои в городе спят.  
Им письма писать забывал я  
В заботах текущего дня.  
И — больше: везде, где бывал я,  
Бывали друзья у меня.  
По страсти, надеждам, потерям,  
По вехам на трудном пути...  
И там, где я не был, — я верю, —  
Я тоже бы мог их найти.  
Но нет в моем сердце измены. —  
В нем живы все дружбы и дни,  
Они для души равноценны.  
Хоть в разное время они.

Далекие лампочки светят.  
(Не раз я бродил среди них.)  
Там завтра друзья меня встретят,  
И все восстановится вмиг.  
И сядем семьейю одною,  
Где каждый по-прежнему мил.  
И будет меж ними и мною  
Та жизнь, где я с ними дружил.  
В блужданиях, открытиях, прозрениях  
Я все же не стал им чужим.  
Ведь каждый из нас современник  
Всего, что бывает с другим.

.....

Я думаю, словно о чуде,  
Об этом... И тут я не прав:  
Мы все современники, люди, —  
Хоть мы — переменный состав.  
Нам выпало жить на планете  
Случайно во время одно.  
Из бездны эпох и столетий  
Нам выбрано было оно.  
Мы в нем враждовали, дружили,

Любили, боролись с тоской.  
И все бы мы были чужие  
Во всякой эпохе другой.  
Есть время одно — это люди,  
Живущие рядом сейчас.  
Давай к нему бережней будем —

Другого не будет у нас!

.....  
Все резче рассвет синеватый.  
Коснулся земли самолет,  
И город, где жил я когда-то,  
Живым предо мной предстает.  
Рассвет холодит мои плечи,  
И светят огни сквозь туман...  
И друг выбегает навстречу  
И рвет из руки чемодан.  
И словно бы прошлое

право

Свое обретает опять.  
И утром — спецовка. И — в лаву —  
За смену свою отвечать!  
Тут много хорошего было,  
Тут не было бросовых дней,  
Но дни, как дурак, торопил я,  
Чтоб время прошло поскорей...

Что ж! Время, подумавши малость,  
Прошло...

Хоть грусти, а хоть пой.

Верней, оно здесь и осталось...  
Его не увозят с собой.

1962

### БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ В РИГЕ

Кто на кладбище ходит, как ходят в музей,  
А меня любопытство не гложет — успею.  
Что ж я нынче брожу, как по каменной книге,  
Между плитами Братского кладбища в Риге?

Белых стен и цементных могил панорама.  
Матерь-Латвия встала, одетая в мрамор.  
Перед нею рядами могильные плиты,  
А под этими плитами — те, кто убиты. —  
Под знаменами разными, в разные годы,  
Но всегда — за нее и всегда — за свободу.

И лежит под плитой русской службы полковник,  
Что в шестнадцатом пал без терзаний духовных.

Здесь, под Ригой, где пляжи, где крыши косые,  
До сих пор он уверен, что это — Россия.

А вокруг все другое — покой и Европа,  
Принимает парад генерал лимитрофа.  
А пред ним на безмолвном и вечном параде  
Спят солдаты, отчизны погибшие ради.  
Независимость — вот основная забота.  
День свободы — свободы от нашего взлета,  
От сиротского лиха, от горькой стихии,  
От латышских стрелков, чьи могилы в России,  
Что погибли вот так же, за ту же свободу,  
От различных врагов и в различные годы.  
Ах, глубинные токи, линейные меры,  
Невозвратные сроки и жесткие веры!  
Здесь лежат, представляя различные станы,  
Рядом — павший за немцев и два партизана.  
Чтим вторых. Кто-то первого чтит, как героя.  
Чтит за то, что он встал на защиту покоя.  
Чтит за то, что он мстил, — слепо мстил и сурово  
В сорок первом за акции сорокового.  
Все он — спутал. Но время все спутало тоже.  
Были разные правды, как плиты, похожи.  
Не такие, как он, не смогли разобраться.  
Он погиб. Он уместен на кладбище Братском.

Тут не смерть. Только жизнь, хоть и кладбище это...  
Столько лет длится спор, и конца ему нету,  
Возражают отчаянно павшие павшим  
По вопросам, давно остроту потерявшим.  
К возраженьям добавить спешат возраженья.  
Не умеют, как мы, обойтись без решенья.

Тишина. Спят в рядах разных армий солдаты,  
Спорят плиты — где выбиты званья и даты.  
Спорят мнение с мнением в каменной книге.  
Сгусток времени — Братское кладбище в Риге.

Век двадцатый. Всех правд острия ножевые.  
Точки зренья, как точки в бою огневые.

1962

#### **НА ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ В ТИРАСПОЛЕ**

Не на каторге. Не на плахе.  
Просто цех и станки стучат.

Просто девушки шьют рубахи  
Для абстрактных чужих ребят.

Механически. Все на память;  
Взлет руки — а потом опять.  
Руки! Руки!

Ловить губами  
Вас в полете.

И целовать!

Кожа тонкая... Шеи гнутся...  
Косы спрятаны — так у всех.  
Столько нежности! Задохнуться!  
Только некому — женский цех...

Знаю: вам этих слов — не надо.  
Знаю: жалость — не тот мотив.  
Вы — не девушки. Вы — бригада!  
Вы прославленный коллектив!

Но хочу, чтоб случилось чудо:  
Пусть придут моряки сюда  
И вас всех разберут отсюда,  
С этой фабрики Комтруда!

1962

\* \* \*

Видать, была любовью  
Ты все ж в моей судьбе.  
Душой, губами, кровью  
Тянулся я к тебе.  
И жизнь внезапно цену  
Иную обрела.  
И все твоя измена  
Под корень подсекла.

Что ж... Пусть... Живу теперь я  
Неплохо. Ничего.  
Не верю в счастье. Верю,  
Что можно без него.  
И жизнь на сон похожа,  
И с каждым днем я злей.  
И ты, наверно, тоже  
Живешь не веселей.

Безверье и усталость  
В душе, в судьбе, в крови...  
Приходит рано старость  
К живущим без любви.

1962

### ЗЕМЛЯЧКАМ

Снова Киев.

И девушки

нежной, певучей осанки.

Все — такие, как вы.

Но не встретить на улицах вас,  
Довоенные девочки,  
детство мое, —

киевлянки!

Мои взрослые сверстницы,

где вы и как вы сейчас?

Я не к вашим ногам

припадал молодыми губами,

Все не вам объяснял,

что пытался себе объяснить.

Я оставил вас в детстве,

одних,

словно мертвую память, —

Обронил, словно можно

частицу себя обронить.

Мы встречались порой.

Говорили.

Мне некогда было:

Я проделывал путь,

пробивая дорогу плечом.

Боль эпохи моей

подняла меня,

сердце пронзила,

Отделила от вас,

словно были вы здесь ни при чем.

Словно это не вы

и не горькие ваши романы,

Ваши браки, разводы,

смятенья

и схватки с тоской.

Той любви, что хотели,  
мечтали о ней постоянно,—  
Той любви вдруг не стало,  
а вы не умели с другой.  
Знал я это,  
но знал не про вас.  
Я разыгрывал роли.  
От безвкусицы южной зверел,  
вам не верил норой...  
Чушь.  
Ведь боль остается  
в любой аффектации — болью.  
А судьба остается  
в любом проявленье — судьбой...  
Что же делать?  
Живем.  
И дела наши вовсе не плохи.  
Если что и не так — надо жить.  
Мы выносим свой крест.  
За гарантию счастья  
не спросишь с минувшей эпохи.  
За любовь не получишь  
с давно отшумевших торжеств.  
И не вы эти девушки  
нежной, певучей осанки.  
Что спешат,  
как спешили,  
сияя доверием,  
вы.  
Я ищу вас везде.  
Я такой же, как вы, киевлянки,—  
Та же южная кровь,  
лишь обдута ветром Москвы.  
Я такой же, как вы.  
Так откуда в душе ощущение  
Самой подлой вины,  
словно стал я банкротом сейчас.  
Словно мог я вас всех полюбить,  
увести от крушенья,  
Все мечты вам спасти —  
и по глупости только не спас.

1962



Глаза их светились, а губы  
Гореть продолжали в огне.  
Ах, танцы!.. Поэзия клубов! —  
Вовек не давались вы мне.

Они хохотали счастливо,  
Шумели, дуря напролом.  
Неужто родил этот ливень  
Оркестра фабричного гром?

А может, не он, а блистанье,  
А битва, где всё — наугад.  
Всё — в шутку, и всё — ожиданье,  
Всё — трепет: когда пригласят?

...Срок выйдет, и это случится.  
На миг остановится вихрь.  
Всё смолкнет. И всё совершится.  
Но жизнь завершится в тот миг.

Всё будет: заботы, усталость,  
Успехи, заботы опять.  
Но трепет замрет. Не осталось  
У сердца причин трепетать.

Останется в гости хождение,  
И песни, и танцы подчас.  
Но это уже развлеченье,  
А речь не об этом у нас.

Скучать? А какая причина?  
Ведь счастье! Беречь научись.  
И — глупо. Скучают мужчины,  
На женщинах держится жизнь.

Все правда... Но снова и снова.  
Грущу я, смешной человек,  
Что нет в них чего-то такого,  
Чему и не сбыться вовек.

Что все освещает печалью,  
Надеждой и светом маня,  
С чем вместе — мы вечно вначале —  
Всю жизнь до последнего дня.



Обидно... Но я к ним не сунусь  
Корить их. Не их это грех.  
Пусть пляшут, пусть длится их юность,  
Пусть дольше звучит этот смех!

А ты... Ах, что было, то сплыло.  
Исчезло, и в этом ли суть?  
Я знаю — в тебе это было,  
Все было — да толку-то чуть.

Где чувства твои непростые?  
Что вышло? Одна маета!  
Пусть пляшут! Они — не пустые.  
В них жизнь, а она — не пуста.

А завтра на смену опять им...  
Ну что ж!.. отстоят... Ерунда...  
И наскоро выгладят платья  
И вновь, как на службу, сюда.

Чтоб сердце предчувствием билось,  
Чтоб плыть по волне за волной.  
Чтоб дело их жизни творилось:  
Не ими — так жизнью самой.

1963

### НА ПОЛЕТ ГАГАРИНА

Шалеем от радостных слез мы.  
А я не шалею — каюсь.  
Земля — это тоже космос.  
И жизнь на ней — тоже хаос.

Тот хаос — он был и будет.  
Всегда — на земле и в небе.  
Ведь он не вовне — он в людях.  
Хоть он им всегда враждебен.

Хоть он им всегда мешает,  
Любить и дышать мешает...  
Они его защищают,  
Когда себя защищают.  
И сами следят пристрасно,  
Чтоб был он во всем на свете...

...Идти сквозь него опасней,  
Чем в космос взлетать в ракете.  
Пускай там тарелки, блюда,  
Но здесь — пострашней несчастья:  
Из космоса — можно вернуться,  
А здесь — куда возвращаться.

...Но все же, с ним не смыкаясь  
И ясным чувством согреты,  
Идут через этот хаос  
Художники и поэты.  
Печально идут и бодро.

Прямо идут — и блуждают.  
Они человеческий образ  
Над ним в себе утверждают.  
А жизнь их встречает круто,  
А хаос их давит — массой.  
...И нет на земле институтов,  
Чтоб им вычерчивать трассы.  
Кустарность!.. Обидно даже:  
Такие открытья... вехи...  
А быть человеком так же  
Кустарно — как в пятом веке.

Их часто встречают недобро,  
Но после всегда благодарны  
За свой сохраненный образ,  
За тот героизм — кустарный.  
Средь шума гремящих буден,  
Где нет минуты покоя,  
Он все-таки нужен людям,  
Как нужно им быть собою.  
Как важно им быть собою,  
А не пожимать плечами...

...Москва встречает героя,  
А я его — не встречаю.

Хоть вновь для меня неволью  
Остановилось время,  
Хоть вновь мне горько и больно  
Чувствовать не со всеми.  
Но так я чувствую все же,  
Скучаю в праздники эти...  
Хоть, в общем, не каждый может

Над миром взлететь в ракете.  
Нелегкая эта работа,  
И нервы нужны тут стальные...  
Все правда... Но я полеты,  
Признаться, люблю другие.  
Где все уж не так фабрично:  
Расчеты, трассы, задачи...  
Где люди летят от личной  
Любви — и нельзя иначе.  
Где попросту дышат ею,  
Где даже не нужен отдых...  
Мне эта любовь важнее,  
Чем ею внушенный подвиг.

Мне жаль вас, майор Гагарин,  
Исполнивший долг майора.  
Мне жаль... Вы хороший парень,  
Но вы испортитесь скоро<sup>1</sup>.  
От этого лишнего шума,  
От этой сыгранной встречи  
Вы сами начнете думать,  
Что вы совершили нечто, —  
Такое, что люди просят  
У неба давно и страстно.  
Такое, что всем приносит  
На унцию больше счастья.  
А людям не нужно шума.  
И всё на земле иначе.  
И каждому вредно думать,  
Что больше он есть, чем он значит.

Всё в радости: — сон ли, явь ли, —  
Такие взяты высоты.  
Мне ж ясно — опять поставлен  
Рекорд высоты полета.  
Рекорд!

...Их эпоха ниже  
На нитку, хоть судит строго:  
Летали намного ниже,  
А будут и выше намного...

---

<sup>1</sup> Судя по всему, — это утверждение несправедливо. Но стихи написаны тогда, в дни торжеств, и я имел в виду не личность, а явления.

А впрочем, глядите: дружно  
Бурлит человечья плазма.  
Как будто всем космос нужен,  
Когда у планеты — астма.  
Гремите ж вовсю, орудья!  
Радость сия — велика есть:  
В Космос выносят люди  
Их победивший  
Хаос.

1961

\* \* \*

Это чувство как проказа,  
Не любовь. Любви тут мало.  
Все в ней было: сердце, разум...  
Все в ней было, все пропало.

Свет затмился. Правит ею  
Человек иной породы.  
Ей теперь всего нужнее  
Все забыть — ему в угоду.

Стать бедней, бледней, бесстрастней...  
Впрочем — «счастье многолико»...  
Что ж не светит взор, а гаснет?  
Не парит душа, а никнет?

Ты в момент ее запомнишь  
Правдой боли, силой страсти.  
Ты в глазах прочтешь: «На помощь!»  
Жажду взлета. Тягу к счастью.

И рванешься к ней... И сразу  
В ней воскреснет все, что было.  
Не надолго. Здесь — проказа:  
Руки виснут: «Полюбила».

Не взлететь ей. Чуждый кто-то  
Стал навек ее душою.  
Все, что в ней зовет к полету,  
Ей самой давно чужое.

И заплатишься сурово  
Ты потом, коль почему-то  
В ней воскреснет это снова,  
Станет близким на минуту.

.....

Этот бред любовью назван.  
Что ж вы, люди! Кто так судит?  
Как о счастье — о проказе,  
О болезни — как о чуде?

Не любовь — любви тут мало.  
Тут слепая, злая сила.—  
Кровь прожгла и жизнью стала,  
Страсть от счастья — отделила.

1963

### ЧЕРЕЗ МНОГО ЛЕТ

Сдаешься. Только молишь взглядом.  
И задушить, и не душить.  
И задавать вопрос не надо —  
А как ты дальше будешь жить?

Наверно, так, как и доселе.  
И так же в следующий раз  
В глазах бледнее будет зелень  
И глубже впадины у глаз.

И я — все сдержанней и злее —  
Не признавать ни слов, ни слез...  
Но будет каждый раз милее  
Все это.— Все, что не сбылось.

1960

### МАСШТАБЫ

Мы всюду,  
бредя взглядом женским,  
Ища строку иль строя дом,  
Живем над пламенем вселенским,  
На тонкой корочке живем.

Гордимся прочностью железной,  
А между тем  
  в любой из дней,  
Как детский мячик,  
  в черной бездне  
Летит земля.  
  И мы на ней.  
Но, все масштабы эти помня,  
Своих забыть —  
  нам не дано.  
И берег —  
  тверд.  
  Земля — огромна.  
А жизнь — серьезна. Все равно.  
1963

#### НА КОНЦЕРТЕ ВАГНЕРА

Сидишь ты, внимая, не споря...  
А Вагнер еще не раскрыт.  
Он звуков стеклянное море  
Над нами сомкнул — и гремит.

Гремит! И весь мир заколдован,  
Весь тянется к блеску слюды...  
И вовсе не надо другого,  
Соленого моря воды!

Тепла его, ласки, лазури,  
И неба, и даже земли...  
Есть только стеклянная буря  
И берег стеклянный — вдали.

Там высь — в этом призрачном гуле,  
Там можно кружить — но не быть.  
Там духи стоят в карауле,  
Чтоб нам на стекло не ступить.

Нас Вагнер к себе не пускает,  
Ему веселей одному...  
Царит чистота нелюдская  
Над жизнью — что вся ни к чему.

Позор и любви, и науке!  
О буйство холодных страстей...  
Гремят беспристрастные звуки, —  
Как танки идут на людей.

Он власть захватил — и карает.  
Гудит беспощадная медь.  
Он — демон! Он все презирает,  
Чем люди должны овладеть.

Он рыщет. Он хочет поспешно  
Наш дух затопить, как водой,  
Нездешней (а может, нигдешней?)  
Стеклою своей красотой...

Так будьте покорней и тише,  
Мы все — наважденье и зло...  
Мы дышим... А каждый, кто дышит,  
Мутит, оскверняет стекло...

Тебе ж этот Вагнер не страшен.  
И правда — ну чем он богат?  
Гирлянды звучащих стекляшек  
Придумал, навещал — и рад.

Он верит, что ходит по краю —  
Мужчина! Властитель! Герой!..  
Чудак!

Ничего он не знает,  
Что женщине нужно земной.

Не знает ни страсти, ни Бога,  
Ни боли, ни даже обид...  
С того и шумит он так много,  
Пугает  
и кровь леденит.

1963

\* \* \*

Заслуг не бывает. Не верьте.  
Жизнь глупо вперед заслужить.  
А впрочем, — дослужим до смерти, —  
И можно заслугами жить.





Он в асфальт тебя вминает,—  
Нет в нем жалости ничуть,  
Он как будто понимает  
Впрямь,—  
        куда ты держишь путь.

Он лишь тем и озабочен —  
Убедишься в том вполне.  
Ты идешь и очень хочешь,  
Чтоб казалось — не ко мне.

А навстречу — взгляды, взгляды,  
Каждый взгляд — скажи, скажи.  
Трудно, ангел... Лгать нам надо  
Для спасения души.

Чтоб хоть час побыть нам вместе  
(Равен жизни каждый час),  
Ладно, ангел... Нет бесчестья  
В этой лжи. Пусть судят нас.

Ты идешь — вся жизнь на грани,  
Все закрыто: радость, боль.  
Но опять придешь и станешь  
Здесь, при мне, сама собой.

Расцветешь, как эта осень,  
Золотая благодать.  
И покажется, что вовсе  
Нам с тобой не надо лгать.

Что скрывать, от всех спасаясь?  
Радость? Счастье? Боль в груди?  
Тихий ангел, храбрый заяц.  
Жду тебя. Иди. Иди.

1964

\* \* \*

Слепая осень. Город грязь топтал.  
Давило небо низкое, и даже  
Подчас казалось: воздух черным стал,  
И все вдыхают смесь воды и сажки.

Давило так, как будто, взяв разбег  
К бессмысленной, жестокой, стыдной цели,  
Все это нам наслал наш хитрый век,  
Чтоб мы о жизни слишком не жалели.

А вечером мороз сковал легко  
Густую грязь... И вдруг просторно стало.  
И небо снова где-то высоко  
В своей дали прозрачно заблестало.

И отделился мир от мутных вод,  
Пришел в себя. Отбросил грязь и скверну.  
И я иду. Давлю ногами лед.  
А лед трещит. Как в детстве. Достоверно.

1964

\* \* \*

Освободите женщину от мук.  
И от забот, что сушат, — их немало.  
И от страстей, что превращают вдруг  
В рабыню ту, что всех сама пленяла.

А потому — от выбора судьбы:  
Не вышло так — что ж!.. Можно жить иначе...  
От тяжести бессмысленной борьбы  
И щедрости хмельной самоотдачи.

От обаянья смелости — с какой  
Она себя, рискуя счастьем, тратит.  
Какая смелость может быть у той,  
Что все равно за смелость не заплатит?

Откуда трепет в ней возьмется вдруг?  
Какою силой в бездну нас потянет?  
Освободите женщину от мук.  
И от судьбы. И женщины — не станет.

1964

### ТЕМ, КОГО Я ЛЮБИЛ В ЮНОСТИ

Я вас любил, как я умел один.  
А вы любили роковых мужчин.

Они всегда смотрели сверху вниз,  
Они внушать умели: «Подчинись!»

Они считали: по заслугам честь,  
И вам казалось: в этом что-то есть.

Да, что-то есть, что ясно не вполне...  
Ведь вам казалось — пали вы в цене,

Вас удивлял мой восхищенный взгляд,  
Вы знали: так на женщин не глядят.

Взгляд снизу вверх... На вас!.. Да это бред!  
Вы ж были для меня легки, как свет.

И это понимали вы подчас.  
Но вам казалось, я похож на вас,

Поскольку от любви не защищен,  
А это значит — мужества лишен.

И шли в объятия подлинных мужчин,  
И снова оставался я один.

Век мужества! Дела пошли всерьез.  
И трудно я свое сквозь жизнь пронес.

И вот я жив... Но словно нет в живых  
Мужчин бывалых ваших роковых.

Их рок поблек, сегодня рок иной.  
Все чаще вы, грустя, гордитесь мной.

А впрочем, что же — суета, дела...  
Виню вас? Нет. Но просто жизнь прошла.

Себя виню... Понятно мне давно,  
Что снизу вверх на вас смотреть грешно.

О, этот взгляд! Он вам и дал пропасть.  
Я верю, как в маяк, в мужскую власть.

Но лишь найдет, и вновь — пусть это грех,  
Смотрю на вас, как прежде, — снизу вверх.

И униженья сердцу в этом нет...  
Я знаю — вы и впрямь легки, как свет.

Я знаю, это так — я вновь богат...  
Но снова память гасит этот взгляд.

И потухает взгляд, хоть, может, он  
Теперь вам вовсе не был бы смешон.  
1964

### ПОДОНКИ

Вошли и сели за столом,  
Им грош цена, но мы не пьем.  
Веселье наше вмиг скосило.  
Юнцы, молодчики, шпана,  
Тут знают все: им грош цена.  
Но все молчат: за ними — сила.

Какая сила, в чем она.  
Я ж говорю: им грош цена.  
Да, видно, жизнь подобна бреду.  
Пусть презираем мы таких,  
Но всё ж мы думаем о них,  
А это тоже — их победа.

Они уселись и сидят.  
Хоть знают, как на них глядят  
Вокруг и всюду все другие.  
Их очень много стало вдруг.  
Они средь муз и средь наук,  
Везде, где бьется мысль России.

Они бездарны, как беда.  
Зато уверенны всегда,  
Несут бездарность, словно Знамя.  
У нас в идеях разнобой,  
Они ж всегда верны одной,  
Простой и ясной, — править нами.  
1964

### В МОЛДАВИИ

Языки романской группы,  
Юность древняя Земли!  
Ставить памятник вам глупо —  
Вы со сцены не сошли.



В Кишиневе снег в апреле,  
Неожиданный для всех...  
Вы чего, Господь, хотели,  
Насылая этот снег?

Он от Вас весь день слетает,  
Сыплет с серых облаков,  
Неприятно охлаждает  
Теплый город Кишинев.

И пускай он тут же тает,  
Он сгущает серость дня...  
Чем, конечно, угнетает  
Всех на свете

и — меня.

Очень странно видеть это —  
Снег без счастья, без игры,—  
После солнца, после лета,  
После света и жары.

Холодов терпеть не может  
Этот город летних снов.  
Как в ущелье, расположен  
Он на склонах двух холмов.

А сегодня снег в ущелье  
И туман на лицах всех...  
Вы нам что сказать хотели,  
Напуская этот снег?

Что пора забыть про ересь?  
Вспомнить вновь, как Вы нужны?  
Все смешалось. Давит серость,  
Скука давит в дни весны.

Все во мне с тем снегом спорит.  
Скука? Серость? — Чепуха!  
Я ведь помню — этот город —  
Город светлого греха.

Здесь — два месяца уж будет —  
Без венца (о чем скорблю)  
Я живу — простите, люди, —  
С той, которую люблю.

С той веселой и капризной,  
Смех вносящей на порог,  
Без которой счастья в жизни  
Я не знал и знать не мог.

С той, что может быть серьезной,  
Но не прочь и чушь молоть.  
С той, к кому Вы сами поздно  
Привели меня, Господь.

В Кишиневе снег в апреле  
Сыплет мрачно, давит всех.  
Что напомнить Вы хотели,  
Напуская этот снег?

Возбуждая эти мысли?  
Что у страсти дух в плену?  
Что права я все превысил?  
Лямку честно не тяну?

Зря. И так ознобом бродит  
Это все в крови моей,  
От себя меня уводит  
И от Вас, и от людей...

От всего, чем жил сурово,  
Что вдруг стало ни к чему.  
И от слова. Даже слову  
Я не верю своему...

В Кишиневе снег в апреле  
Ни за что терзает всех.  
Ах, зачем Вам в самом деле  
Нынче нужен этот снег?

Разве честно мстить за страсти?  
Не от Вас ли Дух и Плоть?  
Не от Вас ли это счастье,  
Что открылось мне, Господь?

Так за что вконец измучен  
Я лишением души?  
Что Вам — вправду было б лучше,  
Чтоб и впредь я жил во лжи?

Иль случайный приступ злости —  
Снег, что с неба к нам слетел?..  
Часто кажется, что просто  
Удалились Вы от дел

И, внезапной власти рады,  
С упоением ребят  
Небо Ваши бюрократы —  
Ваши ангелы — мутят.

1965

\* \* \*

Стал я нервным и мнительным,  
Сам себя я не чту.  
Недостаток действительно  
Неприятный в быту.

Чувства глуше ли, звонче ли —  
Трудно меру найти.  
Это молодость кончилась  
И не хочет уйти.

Это тяжесть движения,  
Хоть покой истомил.  
Это в каждом решении —  
Напряжение сил.

Это страсть защищается,  
Хоть идут холода.  
Это жизнь продолжается —  
И еще — молода.

1965



\* \* \*

Все — загнаны. Все — орудья.  
Всем — души не по плечу.  
Но все ж я тянусь к Вам, люди,  
И чувствовать Вас хочу.

Вам жизнь и в бесчестии ценность:  
Все ж можно свое отцвесть...  
А я? Но куда я денусь...  
От вас... Уж какие есть.

Мне скажут, что жизнь без смысла —  
Не жизнь...

Чушь! Слова одни...

Не жизнь — так продленье жизни,  
Не легкое в наши дни.

Не легкое в дни такие,  
Где чуть — и загнулся враз.  
Так пусть вы не те: другие  
Не явятся в мир без вас.

Так ссорьтесь, так пойте песни.  
(О чем? Жизнь — как в смутном сне.)  
Я зрячий. Но мир исчезнет,  
Коль станет подобен мне.

И вот я тянусь к вам, люди...  
И чувствовать вас хочу...  
Все — загнаны. Все — орудья.  
Всем — души не по плечу.  
1966

\* \* \*

Перевал. Осталось жить немного.  
За вершиной к смерти круче склон.  
И впервые жаль, что нету Бога:  
Пустота. Нет смысла. Клонит в сон.

Только все ж я двигаться обязан —  
Долг велит, гнетет и в полусне.  
И плетусь, как раб, тем долгом связан,  
Словно жизнь моя нужна не мне.

Разве рабством связан я с другими?  
Разве мне не жаль, что в пропасть — дни?  
Господи! Откройся! Помоги мне!  
Жизнь, себя, свободу мне верни...

1966

## ГАМЛЕТ

*В. Р.*

Время мстить. Но стоит он на месте.  
Ткнешь копьём — попадешь в решето.  
Все распалось — ни мести, ни чести.  
...Только длится — неведомо что.

Что-то длится, что сердцем он знает.  
Что-то будет потом.

А сейчас —  
Решето — уже сетка стальная,  
Стены клетки, где весь напоказ.

Время драться. Но бой — невозможен.  
Смысла нет. Пустота. Ничего.  
Это — правда. Но будь осторожен:  
Что-то длится... Что стоит всего.

1966

## ДОРОГА

В драгоценностях смысла я вижу немного.  
Но одна драгоценность нужна мне — дорога.  
Да, хоть мало мне нужно, нужна мне зачем-то  
Этих серых дорог бесконечная лента,  
Этот ветер в лицо, это право скитаться,  
Это чувство свободы от всех гравитаций,  
Чем нас жизнь ограничила, ставя пределы, —  
Чем мы с детства прикованы к месту и делу.

Это мало? Нет, много! Скажу даже: очень.  
Ведь в душе, может, каждый подобного хочет, —  
Чтобы жить: нынче дома, а завтра — далече,  
Чтоб недели и версты летели навстречу  
И чтоб судьбы сплетались с твоею судьбою,

А потом навсегда становились тобою,  
Без тебя доживать, оставаясь на месте,  
О тебе дожидаясь случайных известий.

Это мало? Нет, много. Не мудрствуй лукаво.  
На великую роскошь присвоил ты право.  
И привык. И, тоскуя, не можешь иначе.  
Если совесть вернет тебя к жизни сидячей,  
Сердце снова дороги, как хлеба, попросит.  
И не вынесешь снова... А люди — выносят.  
За себя и тебя... Что ты можешь? — немного:  
Дать на миг ощутить, как нужна им дорога.

Это нужно им? Нужно. Наверное, нужно.  
Суть не в том. Самому мне без этого душно.  
И уже до конца никуда я не денусь.  
От сознания, что мне, словно хлеб,  
драгоценность, —  
Заплатить за которую — жизни не хватит,  
Но которую люди, как прежде, оплатят.  
Бытом будней, трудом... И отчаяньем — тоже...  
На земле драгоценности нету дороже.

1966

### ЦЕРКОВЬ СПАСА НА КРОВИ

Церковь Спаса на Крови!  
Над каналом дождь, как встарь.  
Ради Правды и Любви  
Тут убит был русский царь.

Был разорван на куски  
Не за грех иль подвиг свой, —  
От безвыходной тоски  
И за морок вековой.

От неправды давних дел,  
Веры в то, что выпал срок.  
А ведь он и сам хотел  
Морок вытравить... Не смог.

И убит был. Для любви.  
Не оставил ничего.  
Эта церковь на крови —  
Память звания его.

Широка, слепа, тупа,  
Смотрит, благостно скорбя.  
Словно дворников толпа  
Топчет в ярости тебя.

В скорби — радость торжества:  
То Народ не снес обид.  
Шутка ль! Ради баловства  
Самый добрый царь убит.

Ради призрачной мечты!  
Самозванство! — Стыд и срам!..  
Подтвержденье правоты  
Всех неправых — этот храм.

И летит в столетья весть,  
В крест отлитая. В металл.  
Про «дворянов» злую месть,  
Месть за то, что волю дал.

Церковь Спаса на Крови!  
Довод ночи против дня...  
Сколько раз так — для любви! —  
Убивали и меня.

И терпел, скрепив свой дух:  
Это — личная беда!  
И не ведал, что вокруг  
Накоплялась темнота.

Надоел мне этот бред!  
Кровь зазя — не для любви.  
Если кровь — то спасу нет,  
Ставь хоть церковь на крови.

Но предстанет вновь — заря,  
Морок, сонь... Мне двадцать лет.  
И не кто-то — я царя  
Жду и верю: вспыхнет свет.

Жду и верю: расцветет  
Все вокруг. И в чем-то — лгу.  
Но не верить — знать, что гнет  
Будет длиться... — не могу.

Не могу, так пусть — «авось!».  
Русь моя! Наш вечный рок —  
Доставанья с неба звезд,  
Вера в то, что выпал срок.

Не с того ль твоя судьба:  
Смертный выстрел — для любви.  
С Богом — дворников толпа,  
Церковь Спаса — на крови?

Чу! Карета вдалеке...  
Стук копыт. Слышней... Слышней...  
Всё!

В надежде — и в тоске  
Сам пошел навстречу ей.

1967

\* \* \*

Хоть вы космонавты — любимчики вы.  
А мне из-за вас не сносить головы.  
Мне кости ломает потом иль сейчас  
Фабричный конвейер по выпуску вас.

Все карты нам спутал смеющийся черт.  
Стал спорт — как наука. Наука — как спорт.  
И мир превратился в сплошной стадион.  
С того из-за вас и безумствует он.

Устал этот мир поклоняться ему.  
Стандартная храбрость приятна ему.  
И думать не надо, и все же — держись:  
Почти впечатленье и вроде бы — жизнь.

Дурак и при технике тот же дурак.  
Придумать — он может, подумать — никак.  
И главным конструктором сделался он,  
И мир превратился в сплошной стадион.

Великое дело, высокая власть.  
Сливаются в подвиге разум и страсть.  
Взлетай над планетой! Кружи и верши.  
Но разум — без мудрости, страсть — без души.

Да, трудно проделать ваш доблестный путь —  
Взлетев на орбиту, с орбиты — лизнуть.  
И трудно шесть суток над миром летать,  
С трудом приземлиться и кукольным стать.  
Но просто работать во славу конца —  
Бессмысленной славой тревожить сердца.

Нет, я не хочу быть героем, как вы.  
Я лучше, как я, не сношу головы.

1967

## НОВОСЕЛЬЕ

### I

В снегу деревня. Холм в снегу.  
Дворы разбросаны по склону...  
Вот что за окнами балкона,  
Проснувшись,  
видеть я могу.

Как будто это на холсте!  
Но это все на самом деле.  
Хоть здесь Москва, и я — в постели,  
В своей квартире, как в мечте.

Давно мне грезился покой.  
Но все же видеть это — странно.  
Хоть в окнах комнаты другой  
Одни коробки, плиты, краны,

Индустриальность, кутерьма.  
Чертеж от края и до края...  
А здесь глубинка; тишь сплошная,  
Как в давней сказке. — Русь... Зима.

Вся жизнь моя была хмельна  
Борьбой с устойчивостью древней,  
И нате ж — рад, что здесь деревня,  
Что мне в окно она видна.

И рад, что снег на крышах бел,  
Что все просторно, цельно, живо...  
Как будто расчертить красиво  
Всю землю — я не сам хотел.

К чему раскаянье ума.  
Чертеж — разумная идея.  
Я знаю: строить с ним — быстрее,  
А всем, как мне, нужны дома.

Но вот смотрю на холм в снегу.  
Забыв о пользе, как о прозе.  
И с тем, что здесь пройдет бульдозер,  
Стыдась — смириться не могу.

## II

Тот свет иль этот? Рай иль ад?  
Нет, бледный призрак процветанья.  
Квартиры, сложенные в зданья.  
Широких окон тесный ряд.

То ль чистый план, то ль чистый бред.  
Тут правит странный темперамент.  
Стоят вразброс под номерами  
Дома — дворов и улиц нет.

Здесь комбинат, чей профиль быт,  
Где на заправке дух и тело.  
И мнится: мы на свет для дела  
Явились — жизнь свою отбыть.

К чему тут шум дворов больших?  
О прошлом память? — с ней расстанься!  
Дверь из квартиры — дверь в пространство,  
В огромный мир дворов чужих.

И ты затерян — вот беда.  
Но кто ты есть, чтоб к'небу рваться?  
Здесь правит равенство без братства.  
На страже зависть и вражда.

А впрочем, — чушь... Слова и дым.  
Сам знаю: счастье — зданья эти.  
Одно вот страшно мне — что дети  
Мир видят с первых дней — таким.

## АПОКАЛИПСИС

Мы испытали все на свете.  
Но есть у нас теперь квартиры —  
Как в светлый сон, мы входим в них.  
А в Праге, в танках, наши дети...  
Но нам плевать на ужас мира —  
Пьем в «Гастрономах» на троих.

Мы так давно привыкли к аду,  
Что нет у нас ни капли грусти —  
Нам даже льстит, что мы страшны.  
К тому, что стало нам не надо,  
Других мы силой не подпустим, —  
Мы, отродясь, — оскорблены.

Судьба считает наши вины,  
И всем понятно: что-то будет —  
Любой бы каялся сейчас...  
Но мы — дорвавшиеся свиньи,  
Изголодавшиеся люди,  
И нам не внятен Божий глас.

1968

\* \* \*

До всего, чем бывал взволнован,  
Как пред смертью, мне дела нет.  
Оправданья тут никакого:  
Возраст зрелости — сорок лет.

Обо всем сужу, как обычно,  
Но в себя заглянуть боюсь,  
Словно стал ко всему безразличным,  
А, как прежде, во все суюсь.

Словно впрямь, заглянувши в бездну,  
Вдруг я сник, навек удручен,  
Словно впрямь, — раз и я исчезну,  
Смысла нет на земле ни в чем.

Это — я. Хоть и это дико.  
Так я жить не умел ни дня.  
Видно, возраст, подкравшись тихо,  
В эти мысли толкнул меня.



И в душе удивленья нету,  
Словно в этом — его права,  
Словно с каждым бывает это  
В сорок лет или в сорок два.

Нет, попозже приходит старость,  
Да и сил у меня — вполне.  
Знать, совсем не ее усталость  
Прелесть дней заслонила мне.

Знать, не возраст — извечный, тихий,  
Усмиряющий страсти снег,  
А все то же: твой лик безликий,  
Твоя глотка, двадцатый век!

А все то же — теперь до гроба.  
Только глотка. Она одна.  
Думал: небо, а это — нёбо,  
Пасти черная глубина.

И в душе ни боли, ни гнева,  
Хоть себя и стыдишься сам.  
Память знает: за нёбом — небо,  
Да ведь больше веришь глазам.

И молчит, не противясь даже,  
Память, — словно и вправду лжет...  
Ну и ладно! Но давит тяжесть:  
Видно, память, и смолкнув, жжет.

Ни к чему оно, жженье это,  
Только снова во всё суюсь.  
И сужу. — Хоть мне дела нету.  
Хоть в себя заглянуть боюсь.

1968

### ДРУЗЬЯМ

Я позабыл, как держат ручку пальцы,  
Как ищут слово, суть открыть хотят...  
Я в партизаны странные подался —  
Стрекочет мой язык, как автомат.

Пальба по злу... Причин на это много.  
Все на кону: Бог... ремесло... судьба...  
Но за пальбой я сам забыл —  
и Бога,  
И ремесло, и — отчего пальба.

И все забыв, — сознаться в этом трушу.  
Веду огонь — как верю в торжество.  
А тот огонь мою сжигает душу,  
И всем смешно, что я веду его.

Я все равно не верю, что попался...  
Я только вспоминаю тяжело, —  
Как ищут суть, как держат ручку пальцы  
И как нас учит смыслу — ремесло.

9.11.68

\* \* \*

Что со мною случилось?  
Сердце спит весь день.  
То ли это старость,  
То ли просто лень.

То ли так, томленье:  
Гаснет прежний пыл,  
А бороться с ленью  
Нет причин и сил.

То ли сплю, и это  
Только снится мне,  
И покорно в Лету  
Я плыву во сне.

1968

\* \* \*

От созидательных идей,  
Упрямо требующих крови,  
От разрушительных страстей,  
Лежащих тайно в их основе,

От звезд, бунтующих нам кровь,  
Мысль, облучающих незримо, —  
Чтоб жажде вытоптать любовь,  
Стать от любви неотличимой,

От Правд, затмивших правду дней,  
От лжи, что станет им итогом,  
Одно спасенье — стать умней,  
Сознаться в слабости своей  
И больше зря не спорить с Богом.

1969

## ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ

Удрученный ношей крестной,  
Всю тебя, земля родная,  
В рабском виде Царь Небесный  
Исходил, благословляя.

*Ф. И. Тютчев.*

Крепли' музы, прозревая,  
Что особой нет беды,  
Если рядом убивают  
Ради Веры и Мечты.

Взлет в надеждах и в законах:  
«Совесьть — мать всех оков...»  
И романтик в эшелонах  
Вез на север мужиков.

Вез, подтянутый и строгий,  
Презирая гнет Земли...  
А чуть позже той дорогой  
Самого его везли.

Но, запутавшись в причинах,  
Вдохновляясь и юля,  
Провожать в тайгу невинных  
Притерпелась вся земля.

Чье-то горе, чья-то вера. —  
Смена лиц, как смутный сон:  
Те — дворяне, те — эсеры.  
Те — попы... А это — он.

И знакомые пейзажи,  
Уплывая в смутный дым,  
Вслед ему глядели так же,  
Как недавно вслед другим.

Равнодушно... То ль с испуга,  
То ль, как прежде, веря в свет...  
До сих пор мы так друг друга  
Всё везем. И смотрим вслед.

Может, правда, с ношей крестной,  
Веря в святость наших сил,  
Эту землю Царь Небесный,  
Исходив, благословил.

Но тогда, ревнуя к Славе,  
За усмешкой скрыв оскал,  
Тем путем на тройке дьявол  
По следам Его скакал.

1970

\* \* \*

К себе, к себе — каким я был и стал.  
К себе — пускай поблек я, пусть устал.  
Сквозь вызванную болью злость к толпе,  
Сквозь даже представленье о себе.

К себе, к себе — чтоб знать, чего хочу.  
С чего молчу и отчего кричу.  
Чтоб с правдой слиться смысла своего.  
Чтоб устыдиться — если есть чего.

К себе, к себе, чтоб слушать шум листвы.  
К себе — чтоб вновь в душе воскресли вы:  
Все — тот, кто свят, и чья судьба — грешить.  
К себе — чтоб знать, как всем непросто жить.

К себе, к себе — чтоб к вам живым прийти,  
Чтоб никого потом не подвести.  
Чтоб где-то на изломе бытия  
Не оказалось вдруг, что я — не я.

1970

## ПОСЛЕДНИЙ ЯЗЫЧНИК

(Письмо из VI века в XX)

Гордость,  
мысль,  
красота —  
все об этом давно отгрустили.  
Все креститься привыкли,  
всем истина стала ясна...  
Я последний язычник  
среди христиан Византии.  
Я один не привык...  
Свою чашу я выпью до дна.  
Я для вас ретроград. —  
То ль душитель рабов и народа,  
То ли в шкуры одетый  
дикарь с придунайских равнин...  
Чушь!  
Рабов не душил я —  
от них защищал я свободу.  
И не с ними —  
со мной  
гордость Рима и мудрость Афин.  
Но подчищены книги...  
И вряд ли уже вам удастся  
Уяснить, как мы гибли,  
притворства и лжи не терпя,  
Чем гордились отцы,  
как стыдились, что есть еще рабство.  
Как мой прадед сенатор  
скрывал христиан у себя...  
А они пожалеют меня?  
— Подтолкнут еще малость!  
Что жалеть,  
если смерть —  
не конец, а начало судьбы.  
Власть всеобщей любви  
напрочь вывела всякую жалость,  
А рабы нынче — все.  
Только власти достигли рабы.  
В рабстве — равенство их,  
все — рабы, и никто не в обиде.

Всем  
 подчищенных истин  
 доступна равно  
 простота.

Миром правит Любовь —  
 и Любовью живут, —  
 ненавидя.

Коль Христос есть Любовь,  
 каждый час распиная  
 Христа.

Нет, отнюдь не из тех я,  
 кто гнал их к арене и плахе,  
 Кто ревел на трибунах,  
 у низменной страсти в плену.

Все такие давно  
 поступили в попы и монахи.

И меня же с амвонов  
 поносят за эту вину.

Но в ответ я молчу.  
 Все равно мы над бездной повисли.

Все равно мне конец,  
 все равно я пощады не жду.

Хоть, последний язычник,  
 смущаюсь я гордою мыслью,  
 Что я ближе монахов  
 к их вечной любви и Христу.

Только я — не они, —  
 сам себя не предам никогда я,  
 И пускай я погибну,  
 но я не завидую им:

То, что вижу я, — вижу.  
 И то, что я знаю, — я знаю.

Я последний язычник.  
 Такой, как Афины и Рим.

Вижу ночь пред собой.  
 А для всех — еще раннее утро.

Но века — это миг.  
 Я провижу дороги судьбы:

Все они превзойдут.  
 Все в них будет: и жалость, и мудрость...

Но тогда,  
 как меня,  
 их потопчут другие рабы.

За чужие грехи  
 и чужое отсутствие меры,



И ничем не сыта,  
Одурев от похабства,  
Как вакханка кнута,  
Жаждет власти иль рабства.

Вразуми нас, Господь!  
Мы — в ловушке природы.  
Не стеснить эту плоть,  
Не стесняя свободу.

А свобода — одна.  
И не делится вроде.  
А свобода — нужна! —  
Чтоб наш Дух был свободен.

Без него ж — ничего  
Не достичь... В каждом гнете  
Тех же сил торжество,  
Власть взбесившейся плоти.

Выбор — веку под стать.  
Никуда тут не скрыться:  
Драться — зло насаждать.  
Сдаться — в зле раствориться.

Просто выбора нет.  
Словно жаждешь в пустыне.  
Словно Дух — это бред  
Воспаленной гордыни.

Лучше просто дышать,  
Понимать и не злиться.  
Я хочу — не мешать.  
Я — не в силах мириться.

1971

### В ЗАЩИТУ ПРОГРЕССА

*(Западным левым и московским «славянофилам»)*

Когда запрягут в колесницу  
Тебя, как скота и раба,  
И в свисте кнута растворится  
Не райская с детства судьба



И все, что терзало, тревожа,  
Исчезнет, а как — не понять,  
И голову ты и не сможешь  
И вряд ли захочешь поднять,

Когда все мечты и загадки,  
Порывы к себе и к звезде  
Вдруг станут ничем — перед сладкой  
Надеждой: поспать в борозде,

Когда твой погонщик, пугаясь,  
Что к сроку не кончит урок,  
Пинать тебя станет ногами  
За то, что ты валишься с ног,—

Тогда — перед тем как пристрелят  
Тебя,— мол, свое отходил! —  
Ты вспомни, какие ты трели  
На воле, резвясь, выводил.

Как, следуя голосу моды,  
Ты был вдохновенье само —  
Скучал, как дурак, от свободы  
И рвался — сквозь пули — в ярмо.

Бунт скуки! Веселые ночи!  
Где знать вам, что, в трубы трубя,  
Не Дух это мечется — хочет  
Бездушье уйти от себя,

Ища не любви, так заботы,  
Занятыя — страстей не тая...  
А Духу хватило б работы  
На топких путях бытия.

С движеньем веков не поспоришь,  
И все ж — сквозь асфальт, сквозь века —  
Все время он чувствует, сторож,  
Как топь глубока и близка.

Как ею сближаются дали,  
Как — пусть хоть вокруг благодать,—  
Но люди когда-то пахали  
На людях — и могут опять.

И нас от сдирания шкуры  
На бойне — хранят, отделив  
Лишь хрупкие стенки культуры,  
Приевшейся песни мотив.

...И вот, когда, смыслу переча,  
Встает своеволя волна  
И слышатся дерзкие речи  
О том, что свобода тесна,

Что слишком нам равенство тяжело,  
Что Дух в мельтешенье зачах...  
Тоска о заветной упряжке  
Мне слышится в этих речах.

И снова всплывает, как воля,  
Мир прочный, где всё — навсегда:  
Вес плуга... Спокойствие поля...  
Эпический посвист кнута.

1971

### ЗЛОБА ДНЯ

Нам выпал трудный век —  
ни складу в нем, ни ладу.  
Его огни слепят —  
не видно ничего.  
Мы ненавидим тех,  
кого жалеть бы надо,  
Но кто вовек жалеть  
не стал бы никого.  
И все-таки как знать —  
наш суд не слишком скор ли?  
Мы злы, а так легко  
от злости согрешить.  
Мы ненавидим тех,  
чьи пальцы жмут нам горло,  
Хоть знаем: им теперь  
иначе не прожить.  
Да, их унять — нельзя,  
их убеждать — напрасно.  
Но в нашу правду стыд  
незнамо как проник.



Но только с ним я был самым собой.  
Все — только с ним... И мы болтать не вправе,  
Что это миг... Нет, век живет душа!  
Не с тем Господь нас в этот мир направил,  
Чтоб мы пришли, ничем не дорожа.  
Нет, пусть тут грязь, пускай соблазна много,  
Здесь и Любви бывает торжество.  
И только здесь дано постичь нам Бога  
И заслужить прощение Его.  
Всё только здесь... А будет ли награда  
За это всё когда-нибудь потом, —  
Об этом даже думать нам не надо.  
Не надо торговаться... Суть не в том.

2

Осенним днем лежим под солнцем летним,  
А дома осень — снег с дождем сейчас.  
Мы окунемся в море — и уедем.  
И наша жизнь опять обступит нас —  
Как снег и дождь...

Но не хочу впервые  
Я снова в жизнь — за все держать ответ.  
Кто видел мир в минуты роковые,  
Не столь блажен, как полагал поэт...  
1971

3

Блаженство здесь, — на странном солнцепеке,  
Где мы лежим, где этот Рок — забыт.  
Совсем не блеск нам открывался в Роке —  
Лишь мокрый снег... Да жидкий страх...  
Да стыд.

Он скучен, Рок... И я давно им донят.  
Он — этот снег. В его плену я рос.  
Он целый день пустую чушь долдонит  
И относиться к ней велит всерьез.

А отвернуться?.. Нет!.. Не стоит риска.  
Поможет мало, а в асфальт — вонзут.  
Нет, в этой тьме блаженства нет и близко...  
Как, может, нет и роковых минут.

Не бьемся с Роком — коротаем сроки.  
Поскольку лучше так, чем гнить во рву,  
Скот гонят на убой... Но по дороге  
Он может пить... дышать... щипать траву...

...Мы — тот же скот... Хоть нам  
не сжиться с этим,  
Хоть мы сейчас, забыв и снег, и дом,  
Осенним днем лежим под солнцем летним, —  
Как бы от Рока скрыты этим днем.

1972

\* \* \*

Страх — не взлет для стихов.  
Не источник высокой печали.  
Я мешок потрохов! —  
Так себя я теперь ощущаю.

В царстве лжи и греха  
Я б восстал, я сказал бы: «Поспорим!»  
Но мои потроха  
Протестуют... А я им — покорен.

Тяжко день ото дня  
Я влачусь. Задыхаясь. Тоскую.  
Вдруг пропорют меня —  
Ведь собрать потрохов не смогу я.

И умру на все дни.  
Навсегда. До скончания света.  
Словно я — лишь они,  
И во мне ничего больше нету.

Если страх — нет греха,  
Есть одни только голод и плаха.  
Божий мир потроха  
Заслоняют — при помощи страха.

Ни поэм, ни стихов.  
Что ни скажешь — все кажется: всеу.  
Я мешок потрохов.  
Я привык. Я лишь только тоскую.

1972

## РОДИНЕ

Что ж, и впрямь, как в туман,  
Мне уйти — в край, где синь, а не просинь.  
Где течет Иордан, —  
Хоть пока он не снится мне вовсе.

Унести свою мысль,  
Всю безвыходность нашей печали,  
В край, где можно спастись  
Иль хоть сгинуть, себя защищая.

Сгинуть, выстояв бой,  
В жажде жизни о пулю споткнуться.  
А не так, как с Тобой, —  
От Тебя же в Тебе задохнуться.

Что ж, раздвинуть тиски  
И уйти?.. А потом постоянно  
Видеть плесы Оки  
В снах тревожных у струй Иордана.

Помнить прежнюю боль,  
Прежний стыд, и бессилье, и братство...  
Мне расстаться с Тобой —  
Как с собой, как с судьбою расстаться.

Это так все равно, —  
Хоть Твой флот у Синая — не малость.  
Хоть я знаю давно,  
Что сама Ты с собою рассталась.

Хоть я мыслям чужим,  
Вторя страстно, кричу что есть силы:  
— Византия — не Рим.  
Так же точно и Ты — не Россия.

Ты спасешься? — Бог весть!  
Я не знаю. Всё смертью чревато.  
...Только что в тебе есть,  
Если, зная, как ты виновата,

Я боюсь в том краю —  
Если всё ж мы пойдем на такое —  
Помнить даже в бою  
Глупый стыд — не погибнуть с Тобою.

1972

22 ИЮНЯ 1971 ГОДА

Свет похож на тьму,  
В мыслях — пелена.  
Тридцать лет тому  
Началась война.

Диктор — словно рад...  
Душно, думать лень.  
Тридцать лет назад  
Был просторный день.

Стала лишней ложь,  
Был я братству рад...  
А еще был дождь —  
Тридцать лет назад.

Дождь, азарт игры,  
Веры и мечты...  
Сколько с той поры  
Утекло воды?

Сколько среди полей  
У различных рек  
Полегло парней,  
Молодых навек?

Разве их сочтешь?  
Раны — жизнь души.  
Открывалась ложь  
В свете новой лжи...

Хоть как раз тогда  
Честной прозе дня  
Начала беда  
Обучать меня.

Я давно другой,  
Проступила суть.  
Мой ничьей тоской  
Не оплачен путь.

Но все та же ложь  
Омрачает день.  
Стал на тьму похож  
Свет — и думать лень.

Что осталось?.. Быт,  
Суета, дела...  
То ли совесть спит,  
То ли жизнь прошла.

То ль свой суд вершат  
Плешь да седина...  
Тридцать лет назад  
Началась война.

1971

\* \* \*

Иль впрямь я разлюбил свою страну? —  
Смерть без нее, и с ней мне жизни нету.  
Сбежать? Нелепо. Не поможет это  
Тому, кто разлюбил свою страну.

Зачем тогда бежать?

Свою вину

Замаливать? —

И так, и эдак тошно.

Что ж, куст зачах бы, отвратясь от почвы,  
И чахну я. Но лямку я тяну.

Куда мне разлюбить свою страну!  
Тут дело хуже: я в нее не верю.  
Волною мутной накрывает берег.  
И почва — дно. А я прирос ко дну.

И это дно уходит в глубину.  
Закрыто небо мутною водою.  
Стараться выплыть? Но куда? Не стоит.  
И я тону. В небытии тону.

1972

\* \* \*

Неужели птицы пели,  
Без пальто гуляли мы?  
Ранний март в конце апреля  
Давит призраком зимы.



Холод неба, зябкость улиц,  
Ночь без бодрости и сна...  
Что-то слишком затянулась  
Нынче ранняя весна.

Как тот призрак с места сдвинуть, —  
Заблестать в лучах реке?  
Мир в пути застрял — и стынет  
От тепла невдалеке.

Это всё — каприз природы,  
Шутки солнечных лучей...  
Но в родстве с такой погодой  
Для меня весь ход вещей.

Все, с чего гнетет усталость,  
Все, что мне внушало злость,  
Тоже кончилось, осталось  
И торчит, как в горле кость.

В светлых мыслях — жизнь иная,  
Сам же — в этой дни влачу:  
Что-то вижу, что-то знаю,  
Чем-то брежу — и молчу.

Словно виден свет вершины,  
А вокруг все та же мгла.  
Словно впрямь — застрял и стыну  
На ветру,  
вблизи тепла.

29.4.(1.8)1972

\* \* \*

Уже июнь. Темней вокруг кусты.  
И воздух — сух. И стала осень ближе.  
Прости меня, Господь... Но красоты  
Твоей земли уже почти не вижу.

Все думаю, куда ведут пути,  
Клянущий свой век и вдаль смотрю несмело,  
Как будто я рожден был мир спасти  
И до всего другого нет мне дела.

Как будто не Тобой мне жизнь дана,  
Не Ты все эти краски шлешь навстречу...  
Я не заметил, как прошла весна,  
Я так зимы и лета не замечу.

...Причастности ль, проклятья ль тут печать —  
Не знаю... Но способность к вдохновенью  
Как раз и есть уменье замечать  
Исполненные сущности мгновенья.

Чтоб — даже пусть вокруг тоска и зло, —  
Мгновенье то в живой строке дрожало  
И возвращало суть, и к ней влекло,  
И забывать себя душе мешало.

Жизнь все же длится — пусть в ней смысл исчез.  
Все ж надо помнить, что подарок это:  
И ясный день, и дождь, и снег, и лес,  
И все, чего вне этой жизни нету.

Ведь это — так...

Хоть впрямь терпеть нельзя,  
Что нашу жизнь чужие люди тратят,  
Хоть впрямь за горло схвачены друзья,  
И самого не нынче завтра схватят.  
Хоть гложет мысль, что ты на крест идешь,  
Чтоб доказать... А ничего не будет:  
Твой светлый крест зальет, как море, ложь,  
И, в чем тут было дело, — мир забудет.

Но это — так... Живи, любя, дыша:  
Нет откровенья в схватках с низкой ложью.  
Но без души — не любят... А душа  
Всевластьем лжи пренебрегать не может.

Все рвется к правде, как из духоты.  
Все мнится ей, что крылья — в грязной жиже...  
...Мне стыдно жить, не видя красоты  
Твоей земли, Господь... А вот — не вижу.

1972

Люди пахут каждый раз опять.  
Одинаково — из года в год.  
Почему-то нужен нам полет,  
Почему-то скучно нам пахать.

Я и сам поэт... Писал, пишу,  
Может, вправду что еще рожу...  
А чтоб жрать — не сею, не пашу,  
Скучные стихи перевожу.

И стыдись — за стол сажусь опять,  
Унижаю сердце без конца.  
А ведь всё — чтоб, уцелев, летать,  
Быть собой и волновать сердца.

А ведь всё — чтоб длился мой полет.  
Чтоб и вверх взлетать, и падать вниз...  
Одинаково из года в год  
Люди пахут землю... В этом — жизнь.

Не охотник я до общих мест,  
Но на этом вправду мир стоит.  
Если это людям надоест,  
Все исчезнет... Даже этот стыд.

Мысль, надежда, жажда знать, искать,  
Свет, тепло, и книги, и кино...  
Между тем как людям вновь пахать  
Интересно станет все равно.

А потом окрепнут... И опять,  
Позабыв про боль былых утрат,  
Кто-то станет сытости не рад,  
Не пахать захочет, а летать.

Что ж... Душа должна любить полет.  
Пусть опять летит!.. Но все равно:  
Землю пахут так же — каждый год,  
И других основ нам — не дано.

## НЕПОЭТИЧЕСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Мне — то ли плакаться всегда,  
То ль все принять за бред...  
Кричать: «Беда!»?.. Но ведь беда —  
Ничто во время бед.

Любой спешит к беде с бедой  
К чему-то впереди.  
И ты над собственной — не стой! —  
Быстрее проходи.

Быстрее — в дела! Быстрее — в мечты!  
Быстрее!.. Найти спеши  
Приют в той спешке от беды,  
От памяти души.

От всех, кому ты протянуть  
Не смог руки, когда  
Спасал, как жизнь, свой спешный путь  
Неведомо куда.

1973

\* \* \*

То свет, то тень,  
То ночь в моем окне.  
Я каждый день  
Встаю в чужой стране.

В чужую близь,  
В чужую даль гляжу,  
В чужую жизнь  
По лестнице схожу.

Как светлый лик,  
Влекут в свои врата  
Чужой язык,  
Чужая доброта.

Я к ним спешу.  
Но, полон прошлым всем,  
Не дохожу  
И остаюсь ни с чем...



\* \* \*

Я плоть, Господь... Но я не только плоть.  
Прошу покоя у тебя, Господь.

Прошу покоя... Нет, совсем не льгот.  
Пусть даже нищета ко мне идет.

Пускай стоит у двери под окном  
И держит ордер, чтоб войти в мой дом.

Я не сержусь, хоть сам себе на рад.  
Здесь предо мной никто не виноват.

Простые люди... Кто я впрямь для них?..  
Лежачий камень... Мыслящий тростник...

Всех милосердий я превысил срок,  
Протянутой руки схватить не смог.

Зачем им знать и помнить обо мне,  
Что значил я, чем жил в своей стране.

В своей стране, где подвиг мой и грех.  
В своей стране, что в пропасть тащит всех.

Они — просты. Досуг их добр и тих.  
И где им знать, что в пропасть тащат — их.

Пусть будет все, чему нельзя не быть.  
Лишь помоги мне дух мой укрепить.

Покуда я живу в чужой стране.  
Покуда жить на свете страшно мне.

Пусть я не только плоть, но я и плоть...  
Прошу покоя у тебя, Господь.

1974

\* \* \*

Никакой истерики.  
Все идет как надо.  
Вот живу в Америке,  
Навестил Канаду.

Обсуждаю бодро я  
Все свои идеи.  
Кока-колу ведрами  
Пью — и не беднею...

...Это лучше, нежели  
Каждый шаг — как вежа...  
Но — как будто не жил я  
На земле полвека.

*Сентябрь 1974*

\* \* \*

Довольно!.. Хватит!.. Стала ленью грусть.  
Гляжу на небо, как со дна колодца.  
Я, может быть, потом еще вернусь,  
Но то, что я покинул, — не вернется.

Та ярость мыслей, блеск их остроты,  
Та святость дружб, и нежность, и веселье.  
Тот каждый день в плену тупой беды,  
Как бы в чаду свинцового похмелья.

...Там стыдно жить — пусть Бог меня простит.  
Там ложь как топь, и в топь ведет дорога.  
Но там толкает к откровенью стыд  
И стыд приводит к постиженью Бога.

Там невозможно вызволить страну  
От мутных чар, от мертвого кумира,  
Но жизнь стоит все время на кону,  
И внятна связь судеб — своей и мира.

Я в этом жил и возвращенья жду, —  
Хоть дни мои глотает жизнь иная.  
Хоть все равно я многих не найду,  
Когда вернусь... И многих — не узнаю.

Пусть будет так... Устал я жить, стыдись,  
Не смог так жить... И вот — ушел оттуда.  
И не ушел... Все тех же судеб связь  
Меня томит... И я другим — не буду.

Все та же ярость, тот же стыд во мне,  
Все то же слово с губ сейчас сорвется.  
И можно жить... И быть в чужой стране  
Самим собой... И это — отзовется.

И там, и — здесь...

Не лень, не просто грусть.  
А вера в то, что все не так уж страшно.  
Что я — вернусь...

Хоть если я вернусь,  
Я буду стар. И будет все неважно...

1974

\* \* \*

Ах ты, жизнь моя — морок и месиво.  
След кровавый — круги по воде.  
Как мы жили! — Как прыгали весело —  
Карасями на сковороде.

Из огня — в небеса ледовитые...  
Нас прожгло. А иных — и сожгло.  
Дураки, кто теперь нам завидует,  
Что при нас посторонним тепло.

1975

\* \* \*

Бог за измену отнял душу.  
Глаза покрыты мутным льдом.  
В живых осталась только туша  
И вот — нависла над листом.

Торчит всей тяжестью огромной,  
Свою понять пытаюсь тьму.  
И что-то помнит... Что-то помнит...  
А что — не вспомнит... Ни к чему.

1977

### ЭМИГРАНТСКОЕ

Не назад же! —  
Пусть тут глупость непреклонна.  
Пусть как рвотное  
мне полые слова.  
Трюм планеты,  
зло открывший все кингстоны, —  
Вот такой мне нынче  
видится Москва.



Там вода уже — над всем, что было высью  
Там судьба уже — ревет, борта сверля...  
...Что же злюсь я на игрушечные мысли  
Здесь — на палубе того же корабля?

1977

### КОЕ-КОМУ

Вы как в грунт меня вминаете.  
Не признали? Что вы знаете?  
Это ярмарка какая-то —  
Не поймешь тут, что с чего.  
Вы меня не понимаете?  
Вы себя не понимаете?  
Вообще — не понимаете...  
Впрочем, вам не до того.

1977

# На жизнь небось не очень

---

## ПИСЬМО В МОСКВУ

Сквозь безнадегу всех разлук,  
Что трут, как цепи,  
«We will be happy!»<sup>1</sup>, дальний друг,  
«We will be happy!»

«We will be happy!» — как всегда!  
Хоть ближе пламя.  
Хоть века стыдная беда  
Висит над нами.

Мы оба шепчем: «Пронеси!»  
Почти синхронно.  
Я тут — сбежав... Ты там — вблизи  
Зубов дракона.

Ни здесь, ни там спасенья нет —  
Чернеют степи...  
Но что бы ни было — привет! —  
«We will be happy!»

«We will be happy!» — странный звук.  
Но верю в это:  
«Мы будем счастливы», мой друг,  
Хоть видов — нету.

Там, близ дракона — не легко.  
И здесь — не просто.  
Я так забрался далеко  
В глушь... В город Бостон.

---

<sup>1</sup> Мы будем счастливы! (англ.)

Здесь вместо мыслей — пустяки.  
И тот — как этот.  
Здесь даже чувствовать стихи —  
Есть точный метод.

Нам не прорвать порочный круг,  
С ним силой мерясь...  
Но плюнуть — можно... Плюнем, друг! —  
Проявим — серость.

Проявим серость... Суета —  
Все притязанья.  
Наш век все спутал — все цвета  
И все названья.

И кругом ходит голова.  
Всем скучно в мире.  
А нам — не скучно... Дважды два —  
Пока четыре.

И глупо с думой на челе  
Скорбеть, насупясь.  
Ну кто не знал, что на земле  
Бессмертна глупость?

Что за нос водит нас мечта  
И зря тревожит?  
Да... Мудрость миром никогда  
Владеть не сможет!

Но в миг любой — пусть век колюч,  
Пусть все в нем — мелко,  
Она, как солнце из-за туч,  
Блеснуть — способна.

И сквозь туман, сквозь лень и спесь,  
Сквозь боль и страсти  
Ты вдруг увидишь мир как есть,  
И это — счастье.

И никуда я не ушел.  
Вино — в стаканы.  
Мы — за столом!.. Хоть стал наш стол —  
В ширь океана.

Гляжу на вас сквозь целый мир,  
Хочу взглядеться...  
Не видно лиц... Но длится пир  
Ума и сердца.

Все тот же пир... И пусть темно  
В душе, — как в склепе,  
«We will be happy!»... Все равно —  
«We will be happy!»

Да, все равно... Пусть меркнет мысль,  
Пусть глохнут вести,  
Пусть жизнь ползет по склону вниз,  
И мы — с ней вместе.

Ползет на плаху к палачу,  
Трубя: «Дорогу!»...  
«We will be happy!» — я кричу  
Сквозь безнадегу.

«We will be happy!» — чувств настой.  
Не фраза — вежа.  
И символ веры в тьме пустой  
На скосе — века.

1977

#### **РАДИОСЛУШАТЕЛЯМ «СВОБОДЫ»**

С Новым Годом!.. Годом дел и дум,  
Душ сближенья.  
С Новым Годом! — сквозь напор и шум,  
Вой глушенья.

Между нами стены и пути,  
Моря рокот.  
Те, кто в дом ваш могут вдруг войти,  
В мой — не могут.

В мой — не мой... Похоже всё на бред.  
Мало чести.  
Я, устав, сбежал, увидел свет,  
Вы — на месте.

С Новым Годом!... Что кому дано.  
В славе ль, в сраме, —  
Все равно мы вместе... Все равно  
Весь я с вами.

Нелегко сегодня на земле,  
Все — нечетко.  
Все дрожит, как стрелка на шкале  
Волн коротких.

Но рука не дрогнет, ищет цель,  
Ручку крутит.  
Ищет голос, как жилья в метель,  
Жизнью шутит.

Чуткий поиск... Тяжкая игра...  
Скачут цели...  
С Новым Годом вас!.. Вы мастера  
В этом деле.

С Новым Годом вас!.. Сквозь боль утрат,  
Стыд и слабость.  
С Новым Годом, Пресня и Арбат,  
Псков, Челябинск.

С Новым Годом, Тула и Урал,  
Камни Бреста...  
Все места, где я не раз бывал,  
Где — мне место.

Там друзья — я рвусь сегодня к ним,  
Помня с грустью:  
Хоть сейчас махну в Париж и в Рим,  
В Омск — не пустят.

...Только счастья, что сквозь боль и стыд,  
Сквозь стихии  
«С Новым Годом!» — голос мой звучит  
Над Россией.

1979

Что будет — будет... мутен взгляд.  
Всё мельтешит, все мельтешат.  
Жизнь под наркозом быта.  
«Сотри случайные черты...»!  
Но черт как раз не видишь ты:  
Фокусировка сбита.

Все мельтешит. В глазах рябит.  
Звучат слова, чей смысл забыт...  
Базар! — беседа, спор ли.  
Гудит и пляшет все вокруг.  
Сплошной бедлам!.. И только вдруг  
Лёд чых-то рук на горле.

Не так уж страшен этот лед.  
Возьмут в «научный оборот»,  
Рванусь, и хрустнут кости.  
Но тут же мысль: «Неужто впрямь  
Из пушки бить по воробьям,  
Терять свой облик в злости?»

Но если злость как в горле.кость,  
Пускай хоть так, но выйдет злость,  
Открыв дорогу боли.  
Ведь все же как-то надо жить,  
Ведь могут вправду задушить,  
Лишив судьбы и воли.

Так что ж, поэт! Вставай! Гряди!  
На — курам на смех — Пи-Эйч-Ди <sup>1</sup>,  
Шифровщиков стихи.  
На глубину бессвязных строк,  
На мутных гениев поток,  
Текущий из России.

Все чушь... Но знак глухой беды —  
Подпольных гениев ряды,  
Чье знамя — секс и тропы.  
Они цветут в парах свобод.  
Им не мешает больше гнет  
Твердить зады Европы.

---

<sup>1</sup> PhD — доктор философии — почетное звание, приблизительно равное нашему кандидату наук.

Пускай цветут... На что пенять?  
Прогресс мне глупо догонять,  
Пустым сдаваться фразам.  
Мне как богатство в дар дана  
Твоя судьба, моя страна,  
Твой поздний, горький разум.

И пусть я здесь, но, как всегда,  
Твоя со мною высота,  
С нее смотреть на хаос.  
И я, с высот такой тоски,  
Здесь никому в ученики  
Сходить не собираюсь.

И дома — боль, и всюду — боль.  
Я все равно всегда с тобой —  
Меня ты — не обронишь.  
И в речке — рябь. И в море — рябь.  
Ты где-то тонешь, как корабль.  
Но, может, — не утонешь.

Гудит и пляшет все вокруг,  
И смысл слова теряют вдруг,  
И глохнет крик — в конверте.  
И все смешно, чем жил досель,  
И вдаль ведет гнилой тоннель,  
И светлый выход — в смерти.

1979

### КЕЙП КОД<sup>1</sup>

Живем под небом на земле,  
Живем при море и в тепле, —  
Почти не зная о вестях:  
В них смысла нет, раз мы в гостях.

Куда вернемся? — В никуда.  
Живи! — Здесь воздух и вода.  
И пляж, и чистый небосвод...  
Забвенье времени — Кейп Код.

---

<sup>1</sup> Курортное место неподалеку от Бостона.





I

Все не зря... Столько мест  
Я узрел... И какие места!  
...Так был горек отъезд —  
Я ведь знал, что отъезд в никуда.

Здесь я — кит на песке.  
Но раскаяньем я не томим.  
Не обманут никем —  
Ни молвой, ни собою самим.

Вел не страсти накал —  
Ясный смысл... В общем, все я учел:  
Я свободы искал  
И ее здесь в избытке нашел.

В свете яркого дня  
Впредь вовек — ни в жару, ни в мороз, —  
Не потащат меня  
На опасный и глупый допрос.

Ни в ГэБэ, ни в Союз...  
То, что было, тому уж не быть.  
Я другого боюсь:  
Как все это бывает — забыть.

Как все видят сквозь тьму,  
Устают, находясь на краю,  
Или пишут в Крыму,  
В Доме творчества, словно в раю.

И как бьет через край  
Тайно радость, осилив беду,  
Словно веря, что рай —  
Род оазиса в черном аду.

Не забыть бы про страх,  
Про двойной их и двойственный труд.  
И о тех тайниках,  
Где романы их времени ждут.

Иль в счастливейший год,  
Соблазняя надеждами нас,  
Бьются рыбой об лед  
И его пробивают подчас.

В кандалах, в синяках,  
От потерь инвалиды уже...  
То, что в тех тайниках,  
И в моей еще ноет душе.

Я свободы достиг.  
Но стою совершенно один  
В мельтешенье пустых  
Мыслей, чувств, посягательств, картин.

Мельтешат — не унять.  
Правит миром, уставшим пахать,  
Не стремленье понять,  
Не любовь... Страсть мелькать и мелькать.

Страсть блеснуть и не греть,  
Страх увидеть предел и черту:  
Остановка, как смерть,  
Как паденье в свою пустоту.

Грохот ног, всплески рук:  
Ритма нет и не стоит искать.  
Пусть все гибнет вокруг!  
Лишь бы все продолжало мелькать.

Полный смыслом другим —  
Тем, что были, что будут века,  
Я здесь нужен таким  
Еще меньше, чем дома ЦеКа.

И живу, как в гостях.  
За бортом — без надежд и хлопот.  
— Знал, что будет все так?  
— Знал... Но думал: «Авось пронесет».

Видно, дело к концу.  
Но сейчас — о весенней поре,—  
Вновь живу я в лесу,  
Словно в Ялте на нежной горе.

И себя самого  
Вспоминаю — всю радость свою.  
Отойдя от всего  
В Доме творчества — словно в раю.

Словно те ж тут места,  
Та же тяжесть на трудном пути...  
А не просто беда,  
От которой уже не уйти.

Сзади — все рубежи.  
Но вокруг еще зелень и свет...  
Странный сон... Длится жизнь...  
А ее уже, в сущности, нет.

## II

Моего ль это только заката  
Беспощадные жала лучей?  
...Был я прав иль не прав, но когда-то  
Я уехал из жизни своей.

Да, я знал, что побег — не победа,  
Что хоть выпадет все потерять,  
Но от старости я не уеду  
И от смерти не выйдет удрать.

Мне не снилась, хоть многим и снится,  
Словно пляж посредине зимы,  
Золотая страна — Заграница,  
Праздник жизни, побег из тюрьмы.

Да, свобода... Но, предан ей свято,  
Знал и там я, что с ней тут беда:  
Запах тленья и жала заката  
Проникали ко мне и туда.

Запах тленья там гуще... Но в годы  
Вплетены на последней черте  
Несвобода и жажда свободы,  
Тяга к правде, порыв к чистоте.

Но не встал я за истину грудью.  
Представлял, как, — смущаясь слегка,  
Мне в ответ прокуроры и судьи  
Станут дружно валять дурака.

И добьют меня (всё понимая):  
«Что ж, хотел не как мы, так смотри...»  
Здесь — не то. Но острее донимают  
Тот же запах и краски зари.

Запах тленья — чуть слышный, нежуткий.  
Он ласкает — амбре, а не прах.  
Он во всем: в посягательствах, в шутках,  
В увлечениях, в успехах, в стихах.

Все — как жизнь, все — кружится, все чудо.  
Все — летит, создает кутерьму.  
Лишь одно — никуда ниоткуда.  
И еще — ни с чего ни к чему.

...Мчится поезд... Слезать мне — не скоро.  
Любопытствую — лучше б уснул.  
Вновь чужой, неопознанный город  
Весь в огнях за окном промелькнул.

Вновь чужое, холодное пламя.  
Снова мысль, что уже навсегда  
За штыками, лесами, полями  
Все остались мои города.

Все равно я тянусь туда глухо.  
Здесь живу, не о здешнем моля.  
Очень жаль, но не будет мне пухом  
Эта добрая в общем земля.

Очень жаль... Хоть и глупо все это —  
Словно барская блажь или грусть.  
Потому что побег — не победа,  
И назад я уже не вернусь.

Все равно, и в своем отдаленье  
Я, — отринув недалнюю тьму, —  
Краски вечера, запахи тленья  
За рассвет и расцвет не приму.

До конца!.. Пусть все видится остро,  
И теней не смущает игра,  
Чтоб потом не стыдиться притворства.  
Если выйдет дожить до утра.

### III. ПРОЩАНИЕ С ЯДДО

*(Колонией писателей, композиторов, художников  
и скульпторов в Саратога Спрингс, штат Нью-Йорк)*

Я назад не хочу. Ни туда, где я нынче живу,  
Ни в Париж, ни в Милан, ни в Женеву,  
ни даже в Москву.  
Хоть и хватит блуждать, хоть пора —  
не о том ли и  
речь? —

Вновь друзей повидать  
и в суглинке навеки залечь.  
Чтоб, горька, незабвенна,  
в любом состоянье жива,

Надо мной постепенно  
в себя приходила Москва.  
То спокойно, то круто, то ложью  
восстав против лжи,

И чтоб все эти смуты,  
как стружья спадали с души.

И чтоб в лице усталом  
и пристальной ясности глаз  
То ясней проступало, за что мне мила и сейчас.

Тут не светлая вера, а знанье жестокое тут —  
Ощущенье барьеров из лет, расстояний и смут.

То, что в двери стучится,  
настойчиво лезет в окно.

То, что может случиться и, может,  
случиться должно.

Правда века есть бездна —  
недаром все тонет во мгле.

И не будет мне места до смерти на этой земле.

Там, как здесь — сон ли, явь ли —  
одни пустословье и спесь.

Суеты и тщеславья и мести гремучая смесь.

Что мне весь этот рынок и споры,  
что рынку под стать?

Выбираю суглинок — постель,  
чтоб свой век переспать.

Выбираю охотно — мне этот возврат по плечу.

А другой — значит, Потьма!.. А я и туда не хочу.

Ни за стены-запоры —  
пусть дружба за ними сильна.

Ни в научные споры, чьей нации больше вина.



Как жил я — судить не берусь.  
Но вспомнить все это — боюсь.  
Да все ли Господь мне простил,  
Что я себе сам отпустил?

Нет, лучше пока подожду,  
Не буду спешить за черту.  
Ко всем, не нарушившим черт,  
Господь, говорят, милосерд...

1980

\* \* \*

На жизнь гневись не очень —  
Обступит болью враз.  
Все высказать захочешь,  
А выйдет — пересказ.

И будешь рваться с боем  
Назад — сквозь тьму и плоть, —  
От жизни этой болью  
Отрезанный ломоть.

Начнешь себе же сниться  
От мыслей непростых.  
И в жажде объясниться,  
Тонуть в словах пустых.

Как будто видя что-то  
В себе — издавека...  
Расплывчатое фото,  
Неточная строка.

То ль свет застрял слепящий  
В глазах — как зов мечты,  
То ль жизни отходящей  
Стираются черты.

1981

### ФЛОРИДСКОЕ

Мне будто вправду ничего не надо.  
Взволнует что-то — тут же мысль: «Пустяк!»  
Флоридский берег. Всюду след торнадо.  
Барашки волн ползут на скоростях.

Купаться трудно. Лезу как для вида.  
Все взять спешу — здесь ненадолго я...  
Но что за бред? Торнадо и Флорида.  
И рядом — я... Но это — жизнь моя.

Рожден я там, где взорвалась планета,  
Откуда смерч гудит по всем местам.  
Пусть это здешний смерч, — неважно это:  
Раз он мешает жить, возник он там.

Шучу, наверно... Или брежу прошлым.  
Но взрыв тот был. Здесь все — его дела.  
Его волной я был сюда заброшен,  
В его тылах вся жизнь моя прошла.

Наш быт при нас всегда был зыбок, вспенен,  
Спокойных дней — почти ни одного...  
«Тот ураган прошел»! Не знал Есенин,  
Как этот век вобрал в себя его.

Как от него страдать придется людям  
На всей земле не за свои грехи,  
Но стоп, — уважим высший вкус, не будем  
Всводить социологию в стихи.

Но дни идут. И время все смягчает.  
Торнадо скрылся. Над Флоридой зной.  
И даже волны скорости снижают...  
Что ж, можно жить... Но я хочу домой.

*14 июля 1986 г.*

#### НА ВЕЧЕРЕ ПОЭТОВ

Стихи все умерли со мной  
Давно... А зал их — ждал.  
И я не плыл за их волной —  
По памяти читал.

И было мне читать их лень,  
И горько душу жгла  
Страсть воскресить вчерашний день,  
Когда в них жизнь была.



Тогда светились их слова  
В подспудной глубине...  
Теперь их плоть была мертва.  
И смерть жила во мне.

Они всю жизнь меня вели  
И в них — вся жизнь была.  
И вот живыми не дошли  
Сюда... А жизнь — прошла.

*14 июля 1986 г.*

### МЕЧТЫ ИСПОЛНИЛИСЬ

Я вернулся... Благодать!  
Больше не о чем мечтать.

Сон свершился наяву,  
Паровоз летит в Москву.

...Но с тоской в окно гляжу:  
В вагонзаке я сижу.

*Январь 1987 г.*

### ОТОРОПЬ

Где тут спрятаться? Куда?  
Тихо входит в жизнь беда,  
Всех спасает, как всегда,  
От страданий слепота —  
лучший друг здоровья.

И в России тоже бред:  
Тот — нацист, а тот — эстет.  
В том и в этом смысла нет.  
Меркнет опыт страшных лет —  
пахнет новой кровью.

*8 марта 1987 г.*

### БРАЙТОНСКИЕ БРЮЗЖАНИЯ

Я в Брайтоне свой кончу век,  
Где за окном почти до лета  
На тротуарах скользок снег,  
А на уборку денег нету.

Верней расчета... Трезв расчет.  
Впрямь большинство спасет сноровка.  
А шею кто себе свернет —  
Дешевле выплатить страховку.

А мне-то что? Но вот в окно  
Гляжу... И злюсь. Брюжу с чего-то.  
Как будто мне не все равно,  
Какие в Брайтоне расчеты.

Что злиться, если жив-здоров?  
И твердо ведаешь к тому же,  
Что здесь ты в лучшем из миров,  
А остальные — много хуже.

Все так, но страх меня гнетет,  
Что и когда беда накатит,  
Здесь тот же скажется расчет,  
И на спасенье средств не хватит.

1987

### ВИКТОРУ НЕКРАСОВУ

*(К его 75-летию — написано до перестройки)*

Взлет мысли... Боль тщеты... Попойка...  
И стыд... И жизнь плечом к плечу...  
— Куда летишь ты, птица-тройка?  
— К едреной матери лечу...

И смех. То ль гордый, то ли горький.  
Летит — хоть мы не в ней сейчас...  
А над Владимирской горкой  
Закаты те же, что при нас.

И тот же свет. И люди даже,  
И тень все та же — как в лесу.  
И чье-то детство видит так же  
Трамвайчик кукольный внизу.

А тройка мчится!!! Скоро ухнет —  
То ль в топь, то ль в чьи-то города.  
А на московских светлых кухнях  
Остры беседы, как всегда.

Взлет мысли... Гнет судьбы... Могу ли  
Забить?.. А тройка влезла в грязь.  
И гибнут мальчики в Кабуле,  
На ней к той цели донесась.

К той матери... А в спорах — вечность.  
А тройка прет, хоть нет пути,  
И лишь дурная бесконечность  
Пред ней зияет впереди.

А мы с нее свалились, Вика,  
В безвинность, правде вопреки.  
...Что ж, мы и впрямь той тройки дикой  
Теперь давно не седоки.

И можно жить. И верить стойко,  
Что всё! — мы люди стран иных...  
Но эти мальчики!.. Но тройка!..  
Но боль и стыд... Что мы без них?

Летит — не слышит тройка-птица,  
Летит, куда ее несет.  
Куда за ней лететь стремится  
Весь мир... Но не летит — ползет.

А мы следим и зависть прячем  
К усталым сверстникам своим.  
Летят — пускай к чертям собачьим.  
А мы и к черту не летим.

И давней нежностью пылая  
К столь долгой юности твоей,  
Я одного тебе желаю  
В твой заграничный юбилей.

Лишь одного, коль ты позволишь.  
Не громкой славы новый круг,  
Не денег даже...

А того лишь,  
Чтоб оказалось как-то вдруг,

Что с тройкой все не так уж скверно,  
Что в жизни все наоборот,  
Что я с отчаянья неверно  
Отобразил ее полет.

*Лето 1985 г.*

## ДЖОН СИЛЬВЕР

*(Подражание английской балладе)*

Забыть я это не смогу —  
хоть всё на свете прах.  
Был за морями МГУ,  
а Гарвард — в двух шагах.  
Была не сессия ВАСХНИЛ —  
церковный строгий зал,  
Где перед честными людьми  
Джон Сильвер речь держал.

Был честен зал, добро любил,  
пришел за правду встать.  
Но, словно сессия ВАСХНИЛ,  
хотел одно — топтать.  
Шли те же волны по рядам,  
был так же ясен враг.  
Ну, в общем, было все как там...  
А впрочем, нет, не так.  
Здесь — честно звали злом добро,  
там — знали, кто дерьмо.  
Там был приказ Политбюро,  
а здесь — все шло само.  
Само все шло. В любви к добру,  
в кипенье юных сил  
Был втянут зал в свою игру  
и в ней себя любил.  
И, как всегда, сразиться он  
был рад со злом любым.  
Но главным злом был Сильвер Джон,  
стоявший перед ним.

Джон худощав был, сухорук,  
натянут, как стрела,  
Но воплотил для зала вдруг  
всю власть и силу Зла.  
Джон точен был и прав кругом,  
но зал срывался в крик.  
Не мог признать, что зло не в том,  
в чем видеть он привык.  
И злился в такт его словам,  
задетый глубоко.  
Не мог признать, что зло не там,  
где смять его легко.

За слепоту вступался он  
из жажды верить в свет.  
Хоть на него был наведен  
незримый залп ракет.  
Хоть, как всегда, с подземных баз,  
из глубины морей  
Следил за ним недобрый глаз,  
глаз родины моей.

О, этот глаз... Он — боль моя  
и знак глухой беды.  
В нем след обманов бытия,  
сиротство доброты.  
В нем все, чем жизнь моя ярка,  
все, что во мне свое:  
Моя любовь, моя тоска  
и знание мое.  
Все испытал я: ложь и сталь,  
узнал их дружбы взлет...  
И знанью равная печаль  
в душе моей живет.

Но залу был сам черт не брат,  
и плыл он по волне,  
Как плыли много лет назад  
и мы в своей стране.  
И я, доплыв, на зал глядел  
и жизни был не рад.  
Казалось: дьявол им вертел —  
мостила дорогу в ад.  
И все сияло — вдоль и вширь  
в том буйстве светлых сил,  
И «пидарас», борец за мир,  
плечами поводил.  
И рев стоял. И цвел Содом.  
И разум шел на слом.  
И это было все Добром.  
И только Сильвер — Злом.

Но Джон стоял — и ничего.  
А шторм на приступ шел.  
И волны бились об него,  
как о бетонный мол.  
Стоял и ту же речь держал.  
И — что трудней всего —

Знать в этом реве продолжал,  
что знал он до него.  
Геройство разным может быть.  
Но есть ли выше взлет,  
Чем — то, что знаешь, не забыть,  
когда весь зал ревет?  
А я сидел, грустил в углу, —  
глядел на тот Содом.  
Был за морями МГУ,  
а Гарвард — за окном.  
Но тут сплелись в один клубок  
и Запад и Восток.  
Я был от Гарварда далек  
и от Москвы далек.

Тогда в Москве сгущался мрак.  
Внушались ложь и страх,  
И лязг бульдозерных атак  
ещё стоял в ушах.  
И, помня сессию ВАСХНИЛ,  
храня святой накал,  
Там кто-то, близкий мне, любил  
за честность этот зал.  
А может, любит и сейчас,  
сияньем наделив.  
Так все запутано у нас,  
так нужен светлый миф.  
Знать правду — неприятный труд  
и непочетный труд.  
Я надоел и там и тут,  
устал и там и тут.  
Везде в чести — чертополох,  
а нарушитель — злак.  
И голос мой почти заглох —  
ну сколько можно так?

Но только вспомнится мне Джон,  
и муть идет ко дну,  
И долг велит мне встать, как он —  
спасать свою страну.  
Да, мне!.. Хоть мне и не избыть  
побег в сии края,  
Я тоже в силах не забыть  
того, что знаю я.  
И вновь тянуть, хоть жив едва,  
спасительную нить —

Всем надоевшие слова  
    банальные твердить.  
Твержу!.. Пусть словом не помочь,  
    пусть слово — отметут.  
Пусть подступающую ночь  
    слова не отведут.  
Но все ж они, мелькнув, как тень,  
    и отзвучав, как шум,  
Потом кому-то в страшный день  
    еще придут на ум.  
И кто-то что-то различит  
    за освещенной тьмой...  
Так пусть он все-таки звучит,  
    пригложший голос мой.

*Закончено 8 января 1988 г.*

*Сокращено и доделано 22 мая — 3 июня 1988 г.*

### В АФРИКЕ

Нет, август тут не стал суровым,  
Хоть он февраль для южных стран.  
Лишь — дань зиме — несется с ревом  
На нас Индийский океан.

Здесь Африка, хоть Крым по виду.  
И даже помнишь не всегда,  
Что меж тобой и Антарктидой  
Нет ничего... Одна вода.

Все на экзотику похоже,  
Но чушь. Экзотика — заскок.  
Здесь нет ее... А есть все то же —  
Наплывы волн... морской песок...

И даже эти обезьяны,  
Что у дороги сели в ряд.  
Все быт!.. Из дома на поляну  
Спустились — дышат и глядят.

Кто любит всюду жизнь живую,  
Тот прав: Господь нигде не скуп.  
Зима!.. Коржавин, торжествуя,  
В Индийских волнах моет пуп.

*Сиджфилд, ЮАР, август 1987 г.*

## СТИХИ О ВЕРЕВКЕ

Были с детства мы вежливые  
И всю жизнь берегли свои крылья:  
Жили в доме повешенного —  
О веревке не говорили.

Крылья нашей надеждою  
Были... Воздух... Просторные дали...  
Но над домом повешенного —  
Лишь над ним! — мы на них всё летали.

И кружились как бешеные,  
Каждый круг начиная сначала.  
То веревка повешенного  
Нас на привязи прочно держала.

Все мы рвались в безбрежие...  
А срывались — сникали в бессилье.  
Душным домом повешенного  
Было все, что вокруг, — вся Россия.

...Так же сник в зарубежье я...  
Смолк ворот выпускающих скрежет,  
Но веревка повешенного  
Так же прочно и здесь меня держит.

Обрывает полет она...  
Трет — лишь только о ней позабуду.  
Тяжесть гибнущей родины,  
Как судьба наша, с нами повсюду.

Тем и жив я пока еще...  
Той веревкой... Той связью дурацкой...  
В пустоте обступающей  
Даже страшно с нее мне сорваться.

Предоставлен насмешливо нам  
Страшный выбор, как дело простое:  
Жить с веревкой повешенного  
Или падать в пространство пустое?

И кривая не вывезет...  
И куда вывозить? — Все впустую.  
Глянь — весь мир, как на привязи,  
Сам на той же веревке танцует.



Все счастливей, все бешенее,  
Презирая все наши печали,—  
На веревке повешенного,  
О которой мы с детства молчали.

1987

\* \* \*

Дети, выросшие дети,  
Рады ль, нет, а мы в родстве.  
Как живется вам на свете —  
Хоть в Нью-Йорке, хоть в Москве?

Как вам наше отливало —  
Веры, марши, плеск знамен?  
Чем вам юность открывалась  
В дни почти конца времен?

И какими вам глазами  
Видеть жизнь теперь дано? —  
Хоть в Париже, хоть в Казани,  
Хоть в Кабуле — все равно.

Что для веры остается  
Вам?.. Над чем скорбеть уму?..  
Как обжить вам удастся  
Мир, сползающий во тьму?

1987

### НАШЕ ВРЕМЯ

Несли мы лжи и бедствий бремя,  
Меняли, тешась, миф на миф.  
А самый гордый, «Наше время»,  
Был вечен — временность затмив.

Он был поддержан общей ложью  
Тех дней, хмельных и без того...  
Но и опамятавшись, позже  
Мы уповали на него.

И верили легко и прочно,  
Что раз мы вместе против зла,  
Нам хватит времени на то, чтоб  
Исправить прошлые дела.

Само величие крушенья  
Внушало нам сквозь гнет стыда,  
Что пусть не наше поколение,  
Но Наше Время — навсегда.

А Наше Время, как ни странно,  
Как просто время — вдруг прошло.  
На неизлеченные раны  
Забвеньё пластырем легло.

На все мечты и преступленья,  
На гордый миф... Он мертв сейчас.  
Спешат другие поколения  
Его забыть... А с ним и нас...

Все наши беды, боль, усталость...  
Но зря!.. Наш грех — на их судьбе.  
И то, что им от нас осталось,  
Не раз напомнит о себе!

Им доверять забвенью рано,  
Хоть «Наше время» — век иной.  
Все неизлеченные раны  
Всё так же грозно копят гной.

*20 мая 1988 г.*

## ПЕКИНСКИЕ НАДЕЖДЫ

*(после Тяньаньмыня)*

Когда уже не было слова «потом»,  
Блеснула возможность, как капелька влаги,  
Расканянем честным и тяжким трудом  
Купить себе право на вечный концлагерь.

Когда, словно шапку, надвинули тьму,  
Просветом в сознании начало брезжить,  
Что если заслужит, заменят ему  
Мгновенную гибель на вечную нежить...

А был он таким же, как в юности мы,  
Кипел... Но смертельная мгла обступила.  
И странно ль, что мертвое лоно тюрьмы  
Ему показалось милей, чем могила.

Конец застучал сапогами солдат,  
Когда предложили ему эту милость  
И то, с чего в ужасе ночью кричат,  
Вдруг робкой надеждою в нем засветилось.

Мне страшно — хоть я на свободе, в тепле.  
Ведь в мире уже все иное, чем прежде,  
Раз кто-то такой же у нас на Земле  
Вдруг радость находит в подобной надежде.

1989

\* \* \*

Пошли болезни беспросветные,  
Без детских слез — пора не та.  
Последнее и предпоследнее  
Перед уходом навсегда.

Не вспыхнет свет за плотной мутностью.  
Не тшусь ни встать, ни дверь открыть.  
Пришла пора последней мудрости —  
Прощаться и благодарить.

За то, что жил, за ослепление,  
За боль и стыд, за свет и цвет,  
За радость позднего прозрения,  
За все, чего вне жизни нет.

Но странно — нету благодарности,  
Хоть жизнь — была, и свет был мил.  
Какой-то впрямь наплыв бездарности  
Волной тяжелой память смыл.

Прощанье с жизнью. Что ж не грустно мне,  
Все связи рвутся, все, что есть.  
Но здесь я этого не чувствую.  
Был с жизнью связан я — не здесь.

Где я живу еще — Бог милостив.  
И рад, что здесь сегодня я.  
Прощаться? С чем?.. Не здесь открылось мне  
Все то, чем жизнь была моя.

И равнодушие отчаянья  
Гнетет. И тем сильнее оно,  
Что, может, даже боль прощания.  
И та пережита давно.

Там, на балконе, в Шереметьево,  
Перед друзей толпой родной,  
Где в октябре семьдесят третьего  
И уходил я в мир иной.

1989

#### NEWS <sup>1</sup>

Последние известья —  
Россия на краю.  
Все топчутся на месте  
И тешат злость свою.

За крах внушенной веры  
В блаженство на Земле,  
За то, что всё — и мера,  
И дом, и хлеб — в золе.

И остается скука,  
Химера на костях.  
И злоба друг на друга  
За то, что это так.

И труд невыносимый  
И дальше быть людьми.  
И — Господи, спаси нас,  
Прости и вразуми.

Но, как скребок по жести,  
Опять сквозь жизнь мою —  
Последние известья —  
Россия на краю.

В ком — страх, в ком — жажда мести.  
Страстей — хоть отбавляй.  
Все топчутся на месте,  
И всех несет за край.

---

<sup>1</sup> Новости, последние известия (англ.).

Кричу: «Там худо будет!  
Там смерти торжество!»  
Но все друг друга судят,  
И всем не до того.  
1989

## ВАГОН

А время гонит лошадей.

*А. Пушкин*

Да, нашей жизни бред и фон  
От века грохот был железный.  
Вошли мы на ходу в вагон,  
Когда уже он несся к бездне.

И жили в нем, терпя беду,—  
Всю жизнь... Все ждали... Ждать устали...  
И вот выходим на ходу,  
Отпав — забыв, чего мы ждали.

Но будет так же вниз вагон  
Нестись, гремя неутомимо,  
Все той же бездною влеком,  
Как в дни, когда в него вошли мы.

Когда и лязг, и жар, и дым,  
Моторы в перенапряженье,—  
Все нам внушало: вверх летим  
Из пут земного притяженья.

Но путь был только под уклон.  
И на пороге вечной ночи,  
Отпав, мы видим — наш вагон  
Не вверх ползет, а вниз грохочет.

Вразнос, все дальше, в пропасть, в ад.  
Без нас. Но длятся наши муки...  
Ведь наши дети в нем сидят  
И жмутся к стеклам наши внуки.

1989

# Исторические стихи

---

## ИВАН КАЛИТА

*(Пародия на авторов некоторых  
исторических трудов)*

Мы сегодня поем тебе славу.  
И, наверно, поем неспроста, —  
Зачинатель мощной державы,  
Князь Московский — Иван Калита.

Был ты видом — довольно противен,  
Сердцем — подл.

Но — не в этом суть:  
Исторически прогрессивен  
Оказался твой жизненный путь.

Ты в Орде по-пластунски лазил.  
И лизал — из последних сил.  
Покорял ты тверского князя,  
Чтобы Хан тебя отличил.

Подавлял повсюду восстанья...  
Но ты глубже был патриот.  
И побором сверх сбора дани  
Подготавливал ты восход.

Правда, ты об этом не думал.  
Лишь умел копить да копить.  
Но, видать, исторически умным  
За тебя был твой аппетит.

Славься, князь! Все живем мы так же —  
Как выходит, так и живем.  
А в итоге — прогресс...

И даже  
Мы в историю попадем.

1954

## ОДА К ТРЕХСОТЛЕТИЮ ВОССОЕДИНЕНИЯ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

Курился вдали под копытами шлах,  
И пахло медвяной травюю.  
Что ж! Некуда деться! — Москва или лях!  
Так лучше подружим с Москвою.  
В тяжелой руке замерла булава,  
И мысли печальные бродят...  
Конечно бы, лучше самим панувать,  
Да только никак не выходит.  
Поляки и турки застлали пути,  
И нет ни числа им, ни меры.  
И если уж волю никак не спасти,  
Спасем православную веру.  
Молчали казаки... Да гетман и сам  
Молчал и смотрел на дорогу.  
И слезы текли по казацким усам,  
Но слезы — беде не помога.  
Печально и гордо смотрел он с коня,  
Как едут бояре до места...  
Прощай же ты, воля!

В честь этого дня  
Сегодня играют оркестры!  
Мы празднуем праздник, а гетман страдал  
И, пряча от прочих кручину,  
Со шведом он снесся потом и отдал  
Родную свою Украину.  
Казацкую волю щадил ты, Богдан,  
И только... И, если признаться,  
Пожалуй, не мог и предвидеть тогда  
Ты образования наций.  
И умер, измену в душе затая,  
В ней видя мечту и свободу...  
Сегодня сияет икона твоя  
На празднике дружбы народов.  
Сегодня плакаты и флаги вокруг,  
И, ясные в творческом рвенье,  
Несут кандидаты словесных наук  
Эмблемы воссоединенья.  
А я не нуждаюсь в поддержке твоей —  
Ведь я навсегда возвеличил  
Не дружбу народов, а дружбу людей  
Без всяких народных различий.

Сегодня лишь этого требует век,  
Другие слова — обветшалы...  
А ты был, Богдан, неплохой человек,  
И ты ни при чем здесь, пожалуй.

1954

## ЕЖ И ЗАЯЦ

*(Почти басня)*

Что благородны львы — молва несправедлива.  
В них благородного — одна лишь только грива.  
Ну, а клыки и когти? — Нет, поверь:  
Тот царь зверей — обычный хищный зверь.

В одном лесу лев как-то околел:  
Зайчатины, должно быть, много съел.  
А было завались ее — скрывать не стану.  
Лев заготовливал ее согласно плану,  
Что сам волкам спускал.  
И волки рыскали в лесах и между скал,  
Чтоб — буде заяц вдруг объявится где близко —  
Схватить и приволочь и получить расписку.  
Пять зайцев за квартал! — А нет — плати натурой:  
Под барабанный бой навек простись со шкурой.  
Те ж зайцы, что спаслись, таясь по перелескам,  
Потом являлись сами — по повесткам.  
Ведь зайцы мясом чувствуют эпоху  
И знают: план — закон, а вне закона — плохо.  
Лев так бы зайцев всех доел,  
Да околел.

Куда это ведет, всем скоро стало ясно,  
Бить зайцев запретили занапрасно.

Раз после этого, травы едва касаясь,  
Через безопасный лес пер уцелевший заяц.  
И вдруг ему навстречу еж.  
— Здорово, заяц! Как живешь?  
Вам, говорят, теперь полегче малость стало...  
(Еж больше жил в норе, и слыл он либералом.)  
Вас, говорят, теперь не бьют?

— Да нет, не густо!  
Ни за что — это так. Но треплют за капусту.



Да и потом сказать: живи!.. А что за счастье?  
Ни блеска нет теперь, ни трепета, ни власти.  
И охамел вокруг народ.  
Бесштаный соловей что хочет, то поет.  
Любой — хотишь туда, хотишь сюда подайся...  
Что благородны львы — выдумывают зайцы.  
1956

### АРИФМЕТИЧЕСКАЯ БАСНЯ

Чтобы быстрее добраться к светлой цели,  
Чтоб все мечты осуществить на деле,  
Чтоб сразу стало просто все, что сложно,  
А вовсе невозможное возможно,—  
Установило высшее решенье  
Идейную таблицу умноженья:

«Как памятник — прекрасна. Но для дела  
Вся прежняя таблица устарела.  
И отвечает нынче очень плохо  
Задачам, что поставила эпоха.

Наука объективной быть не может —  
В ней классовый подход всего дороже.  
Лишь в угнетенном обществе сгодится  
Подобная бескрылая таблица.

Высокий орган радостно считает,  
Что нам ее размаха не хватает,  
И чтоб быстрее к цели продвигаться,  
Постановляет: «Дважды два — шестнадцать!»

...И все забыли старую таблицу.  
Потом пришлось за это поплатиться.  
Две жизни жить в тоске и смертной муке:  
Одной — на деле, а другой — в науке,  
Одной — обычной, а другой — красивой,  
Одной — печальной, а другой — счастливой,  
По новым ценам совершая траты,  
По старым ставкам получать зарплату.

И вот тогда с такого положенья  
Повсюду началось умов броженье.  
И в электричках стали материться:  
«А все таблица... Врет она, таблица!  
Что дважды два? Попробуй разобраться!..»  
Еретики шептали, что пятнадцать.  
Но, обходя запреты и барьеры,

«Четырнадцать», — ревели малoverы.  
И, все успев понять. обдумать, взвесить,  
Объективисты объявляли: «Десять».

Но все они движению мешали,  
И их за то потом в тюрьму сажали.  
А всех печальней было в этом мире  
Тому, кто знал, что дважды два — четыре.

Тот вывод люди шутками встречали  
И в тюрьмы за него не заключали:  
Ведь это было просто не опасно,  
И даже глупым это было ясно!  
И было так, что эти единицы  
Хотели б сами вдруг переучиться.  
Но ясный взгляд — не результат науки...

Поймите, если можете, их муки.  
Они молчали в сдержанной печали  
И только руки к небу воздевали,  
Откуда дождь на них порой свергался,  
Где Бог — дремал, а дьявол — развлекался.  
1957

## КИБЕРНЕТИКА

Посвящается неизвестному инженеру Полетаеву, автору нашумевших высказываний о ненужности искусства и научно-популярного труда «Сигнал», откуда читатель может почерпнуть ряд интересных сведений о кибернетике, а кроме того, узнать, что наиболее совершенным и достойным жизни существом является кибернетическая машина будущего — она «не станет уклоняться от трудных вопросов, как это часто склонен делать человек», будет свободна от произвольных решений и прочих недостатков живой жизни, одним из которых, по-видимому, является отрицаемое тов. Полетаевым, искусство.

Я попытался себе представить, что бы получилось, если бы миром действительно завладели эти совершенные существа, столь высоко ценимые автором книги «Сигнал».

Сколько было распято, убито,  
Как бурлила мысль, томясь во мгле,  
Чтоб сегодня просто и открыто  
Роботы шагали по земле.

Пусть они пока что неуклюжи  
(Как и мы в младенческие дни),  
Но уже теперь мы в чем-то хуже  
И слабее в чем-то, чем они...

Люди, люди!

        Как неугомонны,  
Как несовершенны мы во всем...  
Постигаем точные законы  
И без всякой точности живем!

К истине придя,  
        мы тут же, сразу,  
Рвемся в дело, не считаясь с ней...  
Потому что жизнь мутит нам разум  
Страстью и подробностями дней!

...А они ровней и постоянной,  
Совершенней нас, живых людей,  
В них всегда разумность наших знаний,  
Прямизна логических путей.

Данные приборов, а не чувства.  
Вспышки ламп: вопрос — и миг ответ.  
«Да» и «нет» сто раз в секунду. Сгусток.  
Непрерывных озарений свет.

Человек, конечно, так не может,  
Но для беспокойств тут нет причин.  
Превосходство... Нас ведь не тревожат  
Превосходства всех других машин.

И опять — сильнее мы только стали  
Оттого, что эти так умны...  
Мы затем их только и создали,  
Что — такие — нам они нужны.

Чтоб,  
        не посвящая нас в детали,  
Сами,  
        в жизни,  
                отметая хлам.

Схватывали суть,  
                осознавали  
И искали выход, нужный нам...

...Так и будет. Смогут все с годами.  
Нам служба. Не мучась. Не любя.  
И воссоздаваться будут сами —  
Даже совершенствовать себя.

Будут нам полезны их исканья...  
Но однажды завершится труд.  
И ошибкой

                                вдруг самосознание  
Точные машины обретут.

Я не знаю, как тогда все будет.  
Но по всем законам естества  
Раздражать начнут их скоро люди —  
Нервные,  
                                живые существа.

Ну на что мы можем им сгодиться?  
Суета, а пользы никакой...  
И они от нас освободиться  
Захотят — по логике людской.

И пойдут. И, мертвые, раздавят  
С помощью науки нас, живых...  
Что мы сможем противопоставить  
Нашей мысли, воплощенной в них?

Нашу храбрость? Или силу чувства?  
Зыбкий ум, принадлежащий нам?  
Их реле защиты  
                                не подпустят  
Наши руки к мертвым рычагам!

Пусть тот мир не будет нами признан,  
Но исчезнем мы в крошечной мгле...  
И пойдет развитие без жизни  
На выдавшей всякое земле.

Смолкнут споры. Мир людских загадок  
Отомрет навеки в тот же час.  
И настанет наконец порядок  
На земле, очищенной от нас.

Тот, что нам казался светлой далью  
И разумным будущим земли.  
О котором сто веков мечтали  
И никак достигнуть не смогли.

Он настанет.

Наша неуклюжесть  
Сгинет с нами,

вмиг,

в чаду огня:

Ни таких, как у тебя, замужеств,  
Ни таких женитьб, как у меня.

Что внезапных увлечений праздность?  
И тщеславий детских глупый сон?  
Точный разум. Целесообразность —  
Их мышленья заданный закон...

...Все быстрее они плодиться станут,  
Что ж такого — быта колея.  
Но настанет день — и недостанет  
На земле

для этого

сырья.

Лишь учуяв это, очень скоро  
Об угрозе, безо всяких драм,  
Сообщат точнейшие приборы  
Остроумно созданным мозгам.

Мысль включится. Щелкнут лампы лихо.

И — споткнутся. Словно бы спьяна:

— Выход? — Есть. Война!

— Война? Не выход!

— Нет другого выхода...

Война!

И упрутся роботы натужно,  
Не сходя упрямо с колеи...  
Будто им и в самом деле нужно  
Создавать подобия свои!  
Словно есть душа в железном теле,  
Словно впрямь доступна неживым  
Тяга к счастью.

Словно в самом деле

Их существованье нужно им!

Без приятных чувств иль чувств печальных  
Вновь в одну из тех густых минут  
Ближние сближаться против дальних  
Волей нашей логики начнут.

Встанут грозно, словно бы насупись,  
Словно бы в кино играя нас.  
И, как птица феникс, наша глупость  
Пролетит над нами в грозный час...  
И начнется битва в чистом поле!  
Уж не разойтись, коли сошлись...  
Ведь не по своей — по нашей воле  
В лямку жизни роботы впряглись!  
Вряд ли целым выйдет кто из боя,  
Отодвинув царство вечной тьмы...

Только нам о том гадать не стоит.  
Это ж будут роботы — не мы...

1958

## НА ДРУГА-ПОЭТА

*(Б. Слуцкому)*

Он комиссаром быть рожден.  
И, облечен разумной властью,  
Людские толпы гнал бы он  
К не понятому ими счастью.  
Но получилось все не так:  
Иная жизнь, иные нормы...  
И комиссарит он в стихах —  
Над содержанием и формой.

1959

## ПАМЯТИ ГЕРЦЕНА <sup>1</sup>

Баллада об историческом недосыпе

*(Жестокий романс по одноименному  
произведению В. И. Ленина)*

Любовь к Добру разбередила сердце им.  
А Герцен спал, не ведая про зло...  
Но декабристы разбудили Герцена.  
Он недоспал. Отсюда все пошло.

---

<sup>1</sup> Речь идет не о реальном Герцене, к которому автор относится с благоговением и любовью, а только о герое упомянутой статьи.

И, ошалеv от их поступка дерзкого,  
Он поднял страшный на весь мир трезвон.  
Чем разбудил случайно Чернышевского,  
Не зная сам, что этим сделал он.

А тот со сна, имея нервы слабые,  
Стал к топору Россию призывать,—  
Чем потревожил крепкий сон Желябова,  
А тот Перовской не дал всласть поспать.

И захотелось тут же с кем-то драться им,  
Идти в народ и не страшиться дыб.  
Так началась в России конспирация:  
Большое дело — долгий недосып.

Был царь убит, но мир не зажил заново,  
Желябов пал, уснул несладким сном.  
Но перед этим разбудил Плеханова,  
Чтоб тот пошел совсем другим путем.

Все обойтись могло с теченьем времени.  
В порядок мог втянуться русский быт...  
Какая сука разбудила Ленина?  
Кому мешало, что ребенок спит?

На тот вопрос ответа нету точного.  
Который год мы ищем зря его...  
Три составные части — три источника  
Не проясняют здесь нам ничего.

Да он и сам не знал, пожалуй, этого,  
Хоть мести в нем запас не иссякал.  
Хоть тот вопрос научно он исследовал,—  
Лет пятьдесят виновного искал.

То в «Бунде», то в кадетях... Не найдутся ли  
Хоть там следы. И неудачи зол,  
Он сразу всем устроил революцию,  
Чтоб ни один от кары не ушел.

И с песней шли к Голгофам под знаменами  
Отцы за ним,— как в сладкое житье...  
Пусть нам простятся морды полусонные,  
Мы дети тех, кто недоспал свое.

Мы спать хотим... И никуда не деться нам  
От жажды сна и жажды всех судить...  
Ах, декабристы!.. Не будите Герцена!..  
Нельзя в России никого будить.

1972

### ПОДРАЖАНИЕ Г-НУ БЕРАНЖЕРУ

Шум в Лувене, в Сорбонне восстанье.  
Кто шумит? Интеллекты одни!  
Как любовник минуты свиданья,  
Революции жаждут они.

А у нас это в прошлом потеха.  
Время каяться, драпать и клясть.  
Только я не хотел бы уехать.  
Пусть к ним едет Советская власть.

К ним пусть едет — навстречу их страсти,  
Чтоб, мечты воплотив наяву,  
Дать им все, что им нужно для счастья...  
Без нее — я и так проживу.

Вы смеетесь, а мне не до смеха.  
И хоть вижу разверстую пасть,  
Не хочу из России к ним ехать,  
Пусть к ним едет Советская власть.

Лишь свобода особого рода  
Им нужна... Пусть!.. А мне бы вполне  
И банальной хватило свободы:  
Остальное — при мне и во мне.

Только нет ее — вот в чем помеха.  
И не будет — такая напасть!  
Все равно не хочу я к ним ехать —  
Пусть к ним едет Советская власть.

К ним пусть едет — к поборникам цели.  
Пусть ликует у края беды.  
И товарищу Дэвис Анджеле  
Доверяют правленья бразды.



А она уж добьется успеха  
И заставит их в ноги упасть.  
Нет, не зря не хочу я к ним ехать,  
Пусть к ним едет Советская власть.

Пусть к ним едет — сам черт им не страшен,  
Коль свобода совсем не мила.  
Очень жаль, — но таскать им параша  
Взад-вперед за такие дела.

Не смеюсь — тут совсем не до смеха:  
Разве радость, что миру пропасть?  
Нет, друзья! — не хочу я к ним ехать.  
Пусть к ним едет Советская власть.

Пусть ведет к ним голодные годы,  
Пусть их ложь разъедает, как дым.  
Пусть!.. Под сенью банальной свободы  
Буду честно сочувствовать им.

Сам прошел я сквозь эти успехи,  
Сам страдал и намучился всласть...  
Нет, не вижу я смысла к ним ехать.  
Пусть к ним едет Советская власть.

Я тогда о судьбе их поплачу,  
Правоте своей горькой не рад,  
И по почте пошлю передачу  
Даже Сартру — какой он ни гад.

И поймет он — хоть будет не к спеху, —  
Что с ним сделала пошлая страсть.  
А пока — не хочу я к ним ехать.  
Пусть к ним едет Советская власть.

Отольются им все их затеи,  
Будет кара — не радуюсь ей.  
Только знайте — не их я жалею,  
Посторонних мне жалко людей.

Им ведь будет совсем не до смеха —  
В переделку такую попасть.  
Там ведь некуда будет уехать:  
Всюду будет Советская власть.

## РЕМИНИСЦЕНЦИЯ

И вот живу за краем света,  
В тот мир беспечный занесен,  
Где редко требует поэта  
К священной жертве Аполлон.

Где редко Феб и вспоминает  
О ней... А спит, забыв про Суд.  
Поскольку трезво понимает:  
Здесь этой жертвы — не поймут.

Где жизнь — «инджой»<sup>1</sup> ...А жертвы, муки  
И книги всяческих судеб —  
Одни лишь цифры — для науки! —  
Специалиста скучный хлеб.

И где поэт — ничто до срока:  
Запел, заглох и вышел весь...  
Где больше дела — для пророка.  
Но только камни есть и здесь.

1978

\* \* \*

Могу в Париж и Вену.  
Но брежу я Москвой,  
Где бьетесь вы о стену,  
О плиты головой,

Надеясь и сгорая,  
Ища судьбы иной.  
И кажется вам раем  
Все то, что за стеной.

---

<sup>1</sup> Инджой — enjoy — получать удовольствие, наслаждаться (англ.).

Где, все сместив оценки —  
Такие времена, —  
Я так же бьюсь о стенку,  
Хоть стенка из г...а.

1980

### ПЕСНЯ ОТДЕЛЬНОЙ ЛЕЙБ-КАЗАЧЬЕЙ СОТНИ НЕИЗВЕСТНОГО ЭСКАДРОНА

У озер лесных биваки,  
Молодецкие атаки,  
Дым скрывал зарю.  
В Новом Хемпшире <sup>1</sup> мы жили,  
Славно, весело служили  
Батюшке-царю.  
Батюшке-царю.

Но настала та минута,  
Паруса всю надуты,  
Грузим пушки в трюм.  
Здравствуй, Дон! И здравствуй, Терек!  
Покидаем дальний берег  
И плывем в Арзрум.  
И плывем в Арзрум.

Что ж вы, братцы, лейб-казаки!  
Иль впервой менять биваки?  
Так о чем тужить!  
Что за страх — края чужие!  
Раз мы войско, мы в России,  
Где б ни вышло жить.  
Где б ни вышло жить.

1982

---

<sup>1</sup> Нью-Гемпшир — штат на северо-востоке США. Русских фортов, в отличие от тихоокеанского побережья, там никогда не было.

## ЗАПАДНОЕ, КУЛЬТУРНОЕ

Гнев некультурности неистов,  
Всегда он рад врагов крушить...  
Жалейте, люди, террористов:  
Цыпленок тоже хочет жить.

*1989*

*Neamy*

---



## ТАНЬКА

Седина в волосах.  
Ходишь быстро. Но дышишь неровно.  
Все в морщинах лицо —  
только губы прямы и тверды.

Танька!  
Танечка!  
Таня!  
Татьяна!  
Татьяна Петровна!

Неужели вот эта  
усталая женщина —  
ты?

Ну, а как же твоя  
комсомольская юная ярость,  
Что бурлила всегда,  
клокотала, как пламень, в тебе! —  
Презиравшая даже любовь,  
отрицавшая старость,  
Принимавшая смерть  
как случайную гибель в борьбе.  
О, твое комсомольство!  
Без мебели всяких квартира,  
Где нельзя отдыхать —  
можно только мечтать и гореть.

Даже смерть отнеся  
к проявлениям старого мира,  
Что теперь неминуемо  
скоро должны отмереть...  
...Старый мир не погиб.  
А погибли друзья и подруги,  
Весом тел  
не влияя ничуть  
на вращенье Земли.

Только тундра — цвела,  
 И под мат блатарей  
 Но опять ты кричишь  
 В твоих юных глазах  
 — Надо взяться!  
 Ты — гремишь.  
 Хочешь в юность вернуться.  
 Что у гроз,  
 Раз гроза отошла,  
 Будут новые грозы,  
 — Перестань! —  
 Отрицать-обобщать.  
 Всё как раньше:  
 Дочкой правящей партии я вспоминаю тебя.  
 Дочкой правящей партии,  
 Побеждавшей врагов,  
 Ученицей людей,  
 Среди других,  
 Только выли колымские вьюги,  
 невозвратные годы ушли.  
 с той же самою верой и страстью.  
 зажигается свет бирюзы.  
 Помочь!  
 Мы вернулись — и к черту несчастья...  
 Это гром  
 отошедшей,  
 далекой грозы.  
 Тебе до сих пор непонятно,  
 как у времени,  
 свой, незаказанный путь.  
 то уже не вернется обратно, —  
 а этой — твоей — не вернуть.  
 ты кричишь, —  
 ведь нельзя,  
 ничего не жалея,  
 Помогай,  
 критикуй,  
 но — любя! —  
 идея,  
 и жизнь — матерьял для идеи...  
 не на словах, а на деле  
 хоть и было врагов без числа.  
 озаренных сиянием цели, —  
 погруженных всецело  
 в мирские дела.



Как они тормозили движенье,  
 Не забывшие домик и садик —  
 Миллионы людей,  
 Силой бури взметенной  
 Миллионы на гребне,  
 К тем высотам, где светит  
 Только гребень волны —  
 На такой высоте  
 Только партия знала,  
 Удержать высоту  
 Но она забывала,  
 И что жизнь — это жизнь.  
 А ты верила в партию.  
 Без сомнений.  
 И тебе не казалось,  
 Слишком ясные люди  
 Танька! Танька!  
 И тревогу в речах меньшинства  
 И в ответ на тревогу  
 — Не жалаим!  
 все эти другие,  
 не общих, а свой.  
 широчайшие массы России,  
 на гребень судьбы мировой.  
 что поднят осеннюю ночью  
 манящая страны звезда.  
 не скала  
 и не твердая почва.  
 удержаться нельзя навсегда.  
 как можно в тягучести буден  
 в первозданной и чистой красе.  
 что люди —  
 и в партии люди.  
 И что жизни подвержены — все.  
 Верила ясно и строго.  
 Отсутствием оных  
 предельно горда.  
 что раньше так верили в Бога...  
 тебя окружали тогда.  
 Ты помнишь, конечно,  
 партийные съезды.  
 за любимый твой строй.  
 глумливые выкрики с места:  
 — Здесь вам не парламент!  
 — С трибуны долой!



Высший смысл.

Высший центр.

И предательский культ  
дисциплины,

И названья идей...

Танька, помнишь снега Колымы?

Танька,

Танечка,

Таня!

Такое печальное дело!

Как же ты допустила,

что вышла такая беда?

Ты же их не любила,

ведь ты же другого хотела.

Почему ж ты молчишь?

Почему ж ты молчала тогда?

Как же так оказалось:

над всеми делами твоими

Неизвестно в какой

трижды проклятый

месяц и год

Путь открытый врагам —

эта хитрая фраза: «во имя» —

Мол, позволено все,

что, по мысли, к добру приведет.

Зло во имя добра!

Кто придумал нелепость такую!

Даже в страшные дни,

даже в самой кровавой борьбе

Если зло поощрять,

то оно на земле торжествует —

Не во имя чего-то,

а просто само по себе.

Все мы смертные люди.

Что жизни

все наши насилья?

Наши жертвы

за счет ослепленных

ума и души!

Ты лгала — для добра,

но традицию лжи подхватили.

Те, кто больше тебя

был способен к осмысленной лжи.

Все мы смертные люди.

И мы проявляемся страстью.





Все прощала.

Простила.

Хоть было прощенье невмочь.

Но когда ты узнала,

что красный профессор твой умер,

Ты в бараке на нарах

проплакала целую ночь.

Боль, как зверь, подступала,

свирепо за горло хватала.

Чем он был в твоей жизни?

Чем стал в твоём бреде  
ночном?

Жизнь прошла пред тобой.

В ней чего-то везде не хватало.

Что-то выжжено было

сухим и бесплодным огнем.

Ведь любовь — это жизнь.

Надо жить, ничего не

нарушив.

Чтобы мысли и чувства

сливались в душе и крови.

Ведь людская любовь

неделима на тело и душу.

Может, все коммунизмы —

одна только жажда любви.

Так чего же ты хочешь?

Но мир был жесток и запутан.

Лишь твое комсомольство

светило сквозь мутную тьму

Прежним смыслом своим,

прочной памятью...

Вот потому-то,

Сбросив лагерный ватник,

ты снова рванулась к нему.

Ты сама заявляешь,

что в жизни не все еще гладко.

И что Сталин — подлец;

но нельзя ж это прямо в печать.

Было б красное знамя...

Нельзя обобщать недостатки.

Перед сонмом врагов

мы не вправе от боли кричать.

Я с тобой не согласен.

Я спорю.

И я тебя донял.

Ты кричишь: «Ренегат!» —  
 но я доводы сыплю опять.  
 Но внезапно я спор обрываю.  
 Я сдался.  
 Я понял —  
 Что борьбе отдала ты  
 и то, что нельзя ей отдать.  
 Всё: возможность любви,  
 мысль и чувство,  
 надежду и совесть, —  
 Всю себя без остатка...  
 А можно ли жить  
 без себя?  
 ...И на этом кончается  
 длинная грустная повесть.  
 Я ее написал,  
 ненавидя,  
 страдая,  
 любя.  
 Я ее написал,  
 озабочен грядущей судьбою.  
 Потому что я прошлому  
 отдал немалую дань.  
 Я ее написал,  
 непрерывной терзаемый болью, —  
 Мне пришлось от себя отрывать  
 омертвевшую ткань.

1957

### ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ

*Эрнесту Хемингуэю*

Когда устаю, — начинаю жалеть я  
 О том, что рожден и живу в лихолетье,  
 Что годы растрочены на постиженье  
 Того, что должно быть понятно с рожденья.  
 А если б со мной не случилось такое,  
 Я смог бы, наверно, постигнуть другое, —  
 Что более вечно и более ценно,  
 Что скрыто от глаз, но всегда несомненно.

Ну, если б хоть разумом Бог бы обидел,  
 Хоть впрямь ничего б я не слышал, не видел,

Тогда б... Что ж, обидно, да спросу-то нету...  
Но в том-то и дело, что было не это.  
Что разума было не так уж и мало,  
Что слуха хватало и зренья хватало,  
Но просто не верило слуху, и зренью,  
И собственным мыслям мое поколение.

Не слух и не зрение — с самого детства  
Нам вера, как знание, досталась в наследство, —  
Высокая вера в иные начала...  
О, как неохотно она умирала!  
Мы знали: до нас так мечтали другие,  
Но все нам казалось, что мы — не такие,  
Что мы не подвластны ни року, ни быту,  
Что тайные карты нам веком открыты.

Когда-нибудь вспомнят без всякой печали  
О людях, которые меры не знали.  
Как жили они, и как их удивляло,  
Когда эта мера себя проявляла.  
И вы меня нынче поймете едва ли,  
Но я б рассмеялся, когда б мне сказали,  
Что нечто помимо есть важное в мире,  
Что жизнь — это глубже, страшнее и шире.

Уходит со сцены мое поколение  
С тоскою — расплатой за те озаренья.  
Нам многое ясное не было видно,  
Но мне почему-то за это не стыдно.  
Мы видели мало, но значит немало,  
Каким нам туманом глаза застилало,  
С чего начиналось, чем бредило детство,  
Какие мы сны получили в наследство.

Летели тачанки, и кони храпели,  
И гордые песни казнимые пели,  
Хоть было обидно стоять, умирая,  
У самого входа, в преддверии рая.  
Еще бы немного напора такого —  
И снято проклятие с рода людского.  
Последняя буря, последняя свалка —  
И в ней ни врага и ни друга не жалко.

Да! В этом, пожалуй что, мудрости нету,  
Но что же нам делать? Нам верилось в это!



Мы были потом. Но мы к тем приобщались,  
Нам нравилось жить, о себе не печалась.  
И так, о себе не печалась, мы жили.  
Нам некогда было — мы к цели спешили.  
Построили много и все претерпели  
И все ж ни на шаг не приблизились к цели.

А нас все учили. Всё били и били!  
А мы всё глупили, хоть умными были.  
И всё понимали. И не понимали.  
И логику чувства собой подминали...  
Мы были разбиты. В Москве и в Мадриде.  
Но я благодарен печальной планиде  
За то, что мы так, а не иначе жили,  
На чем-то сгорели, зачем-то дружили.

На жизнь надвигается юность иная,  
Особых надежд ни на что не питаю.  
Она по наследству не веру, не силу —  
Усталое знание от нас получила.  
От наших пиров ей досталось похмелье.  
Она не прельстится немислимой целью,  
И ей ничего теперь больше не надо —  
Ни нашего рая, ни нашего ада.

Разомкнутый круг замыкается снова  
В проклятие древнее рода людского!

А впрочем, негладко, непросто, но вроде  
Года в колею понемножечку входят.  
И люди трезвеют и всё понимают,  
И логика место свое занимает,  
Но с юных годов соглашаются дети,  
Что Зло и Добро равноправны на свете.  
И так повторяют бестрепетно это,  
Что кажется, нас на Земле уже нету.

Но мы — существуем! Но мы — существуем!  
Подчас подышаем, подчас торжествуем.  
Мы — опыт столетий, их горечь, их гуца.  
И нас не растопчешь — мы жизни присущи.

Мы брошены в годы, как вечная сила,  
Чтоб Злу на планете препятствие было!  
Препятствие в том нетерпенье и страсти,  
В той тяге к добру, что приводит к несчастью.









Ну не так чтоб никто —  
 Входят в быт все упорней,  
 Все же трудно представить,  
 Над цветущей Европой,  
 Как еще уважается мысль,  
 Что бы ни было в ней,  
 Словно наше мышление  
 Словно в нем притаиться не может  
 Век свободы настал.  
 Будь свободным  
 Будь свободен во всем!..  
 (Дым!  
 А вдруг от него  
 угоришь?..)  
 Доктор Фауст с любовницей  
 Маргариту любовник  
 Но от этих измен  
 Честь ничья не задета...  
 Это очень полезно,  
 В этом есть просвещенность  
 Это — значит свобода.  
 Это точные знания.  
 (Гормоны бунтуют в крови.)

Это дух исчезает  
и рушатся связи —  
свобода!

А искусство уходит  
от смысла,  
от форм,  
от любви...

Только правда мгновенья.  
Все стало доступно и  
просто...

Лишь дежурной улыбкой  
глазам отвечают глаза.

Только женщину вскрыли  
жрецы полового вопроса.

Только женственность сводят,  
как сводят в Карпатах  
леса.

Чтоб когда эта призрачность  
все же откроется чувству,

А устроенность жизни  
исчезнет в короткой борьбе,

Чтоб нигде и ни в чем:  
ни в семье,  
ни в любви,  
ни в искусстве —

Человек не нашел ни себя,  
ни покоя себе.

А пока что Прогресс.  
Всё, что с ним, —  
человечно и свято.

Все идеи — в почете...  
И тоже идеям  
верны,

Напрягая умы,  
колесят по земле дипломаты...

Самым чутким ушам  
уже слышится смех сатаны.

Он смеется не зря.  
Мы теперь это знаем, к несчастью.

Дурь настолько окрепнет,  
что разум предаст человек.

Выражаться научно  
научатся темные страсти...

Но об этом не знает еще  
девятнадцатый век.

Он уверен в себе.  
Добродушно встречает он годы,  
Всем желая успеха  
и в трубы Прогресса трубя...  
Добрый толстый рантье,  
приручивший стихии природы!  
Что ты знаешь о них?  
Еще меньше ты знаешь —  
себя.

## ГЛАВА II

Всё о мертвой воде.  
А нельзя ли  
про воду живую?  
Не у всех ведь душа  
умиления и страха  
полна.  
Социал-демократия  
в ритме другом  
существует,  
Ибо поступь истории  
чувствует только она.  
Есть научное зренье.  
Его ей ничто не затмило.  
Будет братство рабочих,  
придет,  
нищету истребят...  
А терзания духа —  
агония старого мира.  
Пессимизм — это он.  
Это он,  
как он видит себя.  
Он уверен, что близится хаос...  
Но ей-то понятно,  
Что не хаоса —  
творческой бури  
слышны голоса.  
Да! Ему это страшно.  
Но ей это  
только приятно —  
Это ветер истории  
дует в ее паруса.  
Но довольство вползает  
в квартиры рабочих,  
как мебель.



И во многих квартирах  
в почетном углу на стене  
Два портрета висят.  
Оба «унзере».  
Кайзер унд Бебель.  
Друг на друга глядят  
и скучают вдвоем в тишине.  
Что ж!  
Забавная глупость.  
К ним буря еще подберется.  
Но терпенье!  
К нему  
непрерывно зывают вожди.  
Чем не райская жизнь?  
Верить в цель...  
рваться к цели...  
бороться...  
А последний рывок  
ощущать далеко впереди.  
Мирно движется век.  
Происходят в рейхстаге дебаты,  
Уясняются истины,  
жить без которых нельзя.  
И на месте законном  
шумят  
социал-демократы,  
Возраженья внося  
И гармонию тоже внося...  
...Это — времени дух.  
Все культурно.  
Пока —  
нетревожно...  
Где им взяться,  
тревогам.  
Устойчиво чист небосвод...  
Младший Либкнехт пугает войной.  
Но война —  
невозможна.  
Как теперь воевать,  
если есть на земле пулемет?!Дипломаты скандалят.  
Но вряд ли им хочется драться.  
Это бред.  
А найдутся безумцы —  
и то не беда.



Схем всеобщего счастья.  
 Упиться полетом минут.  
 Нет! Идеи на месте...  
 Но ими не заняты страсти —  
 Страсти жаждут свободы,  
 и жвачку они не жуют.  
 Страсти жаждут свободы  
 и мысль побеждают упрямо.  
 Пусть устои трещат,  
 но страшнее  
 банальность судьбы.  
 Бога нет —  
 и пускай.  
 Раздеваются весело дамы.  
 Футуристы вопят,  
 и кубисты рисуют кубы.  
 Это «Я» проявляется.  
 «Я» без границы и цели.  
 «Я» без формы и смысла.  
 Какое и в чем —  
 все равно.  
 Нету взлета — в паденье.  
 Любовь не дается —  
 в борделе.  
 В воровстве и в искусстве  
 выхода ищет оно.  
 Жажда творчества...  
 Творчество...  
 Творчества! —  
 всем его  
 мало.  
 Будет битва за творчество —  
 так этой жаждой полны...  
 Всюду творческий дух...  
 Чутко дремлют в штабах  
 генералы  
 И, скучая без творчества,  
 ждут объявленья войны...  
 Только ждать им недолго...  
 Обиды все гуще теснятся...  
 Есть еще осторожность,  
 но страсти плотину прорвут...  
 И тогда отдадут  
 все орудья  
 обиженных наций



Век культуры идет.  
Век свободы и доброго света.  
Власть гуманных идей,  
о которой мечтали давно.  
И рантье надевает очки.  
Он читает газету.  
«Фигаро» или «Форвертс» читает.  
Не все ли равно?

1961

## НАИВНОСТЬ

(5 стихотворений)

### I

Наивность!  
Хватит умиленья!  
Она совсем не благодать.  
Наивность может быть от лени,  
От нежеланья понимать.

От равнодушия к потерям.  
К любви... А это тоже лень.  
Куда спокойней раз поверить,  
Чем жить и мыслить каждый день.

Так бойтесь тех, в ком дух железный,  
Кто преградил сомненьям путь.  
В чьем сердце страх увидеть бездну  
Сильней, чем страх в нее шагнуть.  
Таким ничто печальный опыт.  
Их лозунг — «вера, как гранит!».  
Такой весь мир в крови утопит,  
Но только цельность сохранит.  
Он духом нищ, но в нем — идея,  
Высокий долг вести вперед.  
Ведет!

Не может... Не умеет...  
Куда — не знает... Но ведет.  
Он даже сам не различает,  
Где в нем корысть, а где — любовь.

Пусть так.

Но это не смягчает  
Вины за пролитую кровь.

## II

Наивность взрослых — власть стихии.  
Со здравым смыслом нервный бой.  
Прости меня. Прости, Россия,  
За все, что сделали с тобой.

За вдохновенные насилья,  
За хитромудрых дураков.  
За тех юнцов, что жить учили  
Разумных, взрослых мужиков.

Учили зло, боясь провала.  
При всех учили — днем с огнем.  
По-агитаторски — словами.  
И по-отечески — ремнем.

Во имя блага и свершенья  
Надежд несбыточных Земли.  
Во имя веры в положенья  
Трех скучных книжек, что прочли.

Наивность? Может быть.

А впрочем,

При чем тут качество ума?  
Они наивны были очень, —  
Врываясь с грохотом в дома.  
Когда неслись, как злые ливни,  
Врагам возможным смертью мстя,  
Вполне наивны.

Так наивны,

Как немцы — десять лет спустя.

Да там, на снежном новоселье,  
Где в степь состав сгружал конвой.  
Где с редким мужеством

терпели —

И детский плач, и женский вой.

### III

Все для тебя. Гордись, Отчизна.  
Пойми, прости им эту прыть:  
Идиотизм крестьянской жизни  
Хотелось им искоренить.  
Покончить силой с древней властью  
Вещей, — чтоб выделить свою.  
И с ней вести дорогой к счастью  
Колонны в сомкнутом строю.

Им все мешало: зной и ветер,  
Законы, разум, снег, весна,  
Своя же совесть... Всё на свете.  
Со всем на свете шла война.  
Им ведом был — одним в России —  
Счастливых дней чертеж простой.  
Всей жизни план...

Но жизнь — стихия:

Срывала план. Ломала строй.  
Рвалась из рук. Шла вкривь. Болела.  
Но лозунг тот же был: «Даешь!»...  
Ножами по живому телу  
Они чертили свой чертеж.  
Хоть на песке — а строя зданье.  
Кто смел — тот прав.

Им неспроста

Казалось мелким состраданье.  
Изменой долгу — доброта.

Не зря привыкли — в ожиданье  
Своей несбывшейся судьбы  
Считать

на верность испытаньем  
Жестокость классовой борьбы.

Борьба!

Они обожествляли  
Ее с утра и дотемна.  
И друг на друга натравляли  
Людей — чтоб только шла она.  
И жизнь губили, разрушая  
Словами — связи естества.  
Их обступила мгла пустая —

Тем тверже верили в слова.  
Пока ценой больших усилий,  
Устав от крови и забот,  
Пришли к победе...  
Победили.—  
Самих себя и весь народ.

#### IV

Не мстить зову — довольно мстили.  
Уймись, страна! Устройся, быт!  
Мы все друг другу заплатили  
За все давно,—  
и счет закрыт.  
Ну, что с них взять —  
с больных и старых.  
Уж было все на их веку.  
Я с ними сам на тесных нарах  
Делил баланду и тоску.  
Они считают, что безвинны,  
Что их судьба,— как с неба гром.

Но нет! Тому была причина.  
Звалась: великий перелом.

Предмет их гордости... Едва ли  
Поймут когда-нибудь они,  
Что всей стране хребет сломали  
И душу смяли ей — в те дни.  
Когда из верности науке,  
Всем судьбам стоя поперек,  
Отдали сами — властно — в руки  
Тем, кто не может,  
тех, кто мог,  
Чтоб завязалась счастья завязь,  
Они — в сознание вещей прав,—  
Себе внушили веру в Зависть,  
Ей смело руки развязав.  
В деревне только лишь...

Конечно!

Что ж в город хлынула волна?  
Потоп!

Ах, где им знать, сердечным,  
Что все вокруг — одна страна.



Что в ней — не в тюрьмах,  
в славе, в силе.  
Они — войдя в азарт борьбы,  
Спокойно сами предрешили  
Извивы собственной судьбы.  
Кто б встал за них — от них же зная,  
Что совесть гибкой быть должна.  
Живой страны душа живая  
Молчала в обмороке сна.  
Не от побед бывают беды,  
От поражений... Связь проста.  
Но их бедой была победа.  
За ней открылась — пустота.

V

Они — в истоке всех несчастий  
Своих и наших... Грех не мал.  
Но — не сужу...  
Я сам причастен.  
Я это тоже одобрял.  
Все одобрял: крутые меры,  
Любовь к борьбе и строгий дух. —  
За дружбы свет,  
за пламя Веры,  
Которой не было вокруг.  
Прости меня, прости, Отчизна,  
Что я не там тебя искал.  
Когда их выперло из жизни,  
Я только думать привыкал.  
Немного было мне известно,  
Но все ж казалось — я постиг.  
Их выпирали так нечестно,  
Что было ясно — честность в них.  
За ними виделись мне грозы,  
Любовь... И где тут видеть мне  
За их бедой — другие слезы,  
Те, что отлились всей стране.  
Пред их судьбой я не виновен.  
Я ею жил, о ней кричал.  
А вот об этой — главной — крови  
Всегда молчал. Ее — прощал.  
За тех юнцов я всей душою  
Болею... В их шкуру телом влез.  
А эта кровь была чужою,

И мне дороже был прогресс.  
Гнев на себя — он не напрасен.  
Я шел на ложные огни.  
А впрочем, что ж тут? Выбор ясен.  
Хотя б взглянуть на наши дни:  
У тех трагедии, удары,  
Судьба... Мужик не так богат:  
Причин — не ищет. Мемуаров —  
Не пишет... Выжил — ну и рад.  
Грех — кровь пролить из веры в чудо.  
А кровь чужую — грех вдвойне.  
А я молчал...

Но впредь — не буду:  
Пока молчу — та кровь на мне.

1963

### ПОЭМА СУЩЕСТВОВАНИЯ

Бабий Яр.

Это было...

Я помню...

Сентябрь...

Сорок первый.

Я там был и остался.

Я только забыл про это.

То есть что-то мне помнилось,

но я думал: подводят нервы.

А теперь оказалось: все правда.

Я сжит со света.

Вдруг я стал задыхаться

и вспомнил внезапно с дрожью:

Тяжесть тел...

Я в крови...

Я лежу...

И мне встать едва ли...

Это частная тема.

Но общего много в ней тоже. —

Что касается всех,

хоть не всех в этот день убивали.

Всё касается всех!

Ведь душа не живет отдельно

С этим вздыбленным миром,

где люди — в раздоре с Богом.

Да, я жил среди вас.

Вам об этом забыть — смертельно.  
Как и я не имею права

забыть о многом.  
Да, о многом, что было и жгло:

о слепящей цели,  
О забвении горя людского,

причин и следствий...  
Только что с меня взять? —

мне пятнадцать,  
и я расстрелян.

Здесь —  
еще и не зная

названия этого места.  
Пусть тут город, где жил я,

где верил, как в Бога, в разум,  
Знать хотел все, что было,

угадывал все, что будет, —  
Я на этой окраине не был.

Совсем.  
Ни разу.

И не ведал о том,  
как тут в домиках жили люди.

Я сегодня узнал это,  
я их в толпе увидел,

В их глазах безучастье молчало,  
как смерть, пугая...

Где мне знать, что когда-то  
здесь кто-то их так же обидел, —

Примирил их с неправдой  
и с мыслью, что жизнь — такая,

Я шепчу: «Обыватели!»  
с ненавистью  
и с болью.

Все мы часто так делаем,  
гордо и беззаботно.

Ах, я умер намного раньше,  
чем стал собою,

Чем я что-то увидел,  
чем понял я в жизни что-то.

Мне пятнадцать всего,  
у меня еще мысли чужие.

Все, чем стану богат, еще скрыто,  
а я — у края.







И вдруг сызнава это —  
 Тонколицый эсэсовец —  
 Он теперь победитель.  
 В страшной вере его  
 Он тут все подготовил,  
 С высоты своей расы...  
 Я уж видел таких —  
 Претенденты не только на власть —  
 — Господами вселенной вы были,  
 Мне такой вот сказал,  
 О каком вы господстве?  
 А эсэсовец смотрит в пенсне  
 Вдруг столкнулся глазами со мной,  
 ...Я теряюсь, когда ненавидят меня,  
 Я тогда и взаправду  
 Словно знал да скрывал от себя  
 Что гармонии мира  
 Сам не ведая как:  
 Впрочем, все мы мешаем.  
 Виноватить сначала себя,  
 Просто я не испорчен пока —

стоит и глядит на бабу  
 «воин-освободитель».  
 Вся жизнь за его плечами.  
 меч судьбы для толпы обреченной.  
 а нынче страну изучает  
 В нем жив интерес ученый.  
 вдохновеньем глаза блистали.  
 на величье духа,  
 а вшами стали,—  
 когда дворник избил старуху.  
 Неважно.  
 Все тонет в гуде.  
 на толпу,  
 на хаос.  
 только скрипнул:  
 «Jude!»  
 теряюсь.  
 внезапно вину ощущаю,  
 в гуще дел и быта,  
 всей сутью один мешаю,  
 а теперь это все — открыто.  
 хоть и мало толку.  
 мне ж всего пятнадцать!

Может, впрямь я господствовал,  
да не заметил только.  
Может, вправду все правильно?  
Может, мы впрямь —  
все иные?  
Все, кто в этой толпе,  
всей толпой:  
слесаря...  
студенты...  
Счетоводы...  
завмаги...  
раввины...  
врачи...  
портные...  
Талмудисты...  
Партийцы...  
Российские интеллигенты...  
Может, вправду?  
Неправда!  
Мы розны — мечтами и болью.  
Впрочем, что возражать?  
Люди в каждой толпе — похожи.  
Здесь не видно меня —  
я еврейской накрыт судьбою.  
...Хоть об этой судьбе стал я думать  
намного позже.

.....

Есть такая судьба! —  
я теперь это в точности знаю.  
Всё в ней —  
глупость и разум,  
нахальство и робость —  
вместе.  
Отразилась на ней темнота —  
и своя, и чужая.  
И бесчестье —  
бесчестье других  
и свое бесчестье.  
Есть такая судьба —  
самый центр неустройства земного.  
И ответчик за всё —  
древний выход тоски утробной.



Забывают о ней,  
но чуть что — вспоминают снова.  
И в застой, и в движение  
для злобы она удобна.  
Есть такая судьба!  
И теперь, и во время иное.  
Я живу на земле и как все,  
и как третий лишний.  
И доселе бывает заманчиво  
жертвовать мною, —  
Всё валить на меня,  
если что-то у всех не вышло.  
Этим выходом ложь  
манит вновь,  
как не раз издревле.  
И подводит опять —  
это тоже не раз бывало.  
Потому что мы люди,  
и жертвовать мной не дешевле,  
Чем любимым —  
надó душу свою загубить сначала.  
Я теперь это знаю —  
Земля, как и прежде, — Божья.  
Все мы связаны кровно. — И я.  
Это всем известно.  
И нельзя обойтись без меня, —  
даже если можно,  
Даже если обидно,  
что я занимаю место.  
Подлый грех — рассужденья,  
кто нужен, а кто — не очень.  
Мы — одна суета,  
и одно нас сжигает пламя.  
И нельзя обо мне говорить,  
что во мне вся порча.  
Даже если бы так,  
стал таким я от вас и с вами.  
Наши души — клубок.  
А без душ — ни любви, ни муки.  
Лишь одна пустота  
и мечты о кимвальной славе.  
Только скука одна  
и жестокость от этой скуки, —  
Сам не жажду я жить  
на земле, где я жить не вправе.

Есть такая судьба!  
И во всякой судьбе есть такое.  
Только эта — меж всеми,  
со всеми в дурном соседстве.  
А в соседях — известно —  
нагляднее зло мирское:  
Вечно хватит причин,  
чтоб в соседа острей  
вглядеться.  
Есть такая судьба! —  
часть обычная общего ада.  
Я на ней не стою,  
хоть ее обижали много.  
Чтобы жить по-людски,  
из нее вырваться надо.  
Как из всякой судьбы,—  
к одному вырваться Богу.

.....

А пока я лежу.  
Я понятия пока не имею  
Ни об этой кровавой судьбе,  
ни о Божьем троне.  
Все стараюсь поверить,  
что гибну в борьбе за идею  
И стыжусь, что не верю...  
А рядом девчонка стонет.  
Я ведь помню ее:  
ни тачанки за ней,  
ни кожанки.  
Танцы, книжки и парни,  
и смех победительный,  
звонкий.  
Благочестье храня,  
презирал я ее как мещанку.  
А она не мещанкой была,  
а была девчонкой.—  
Знавшей временность жизни.  
И радости всякой ценность  
От рожденья —  
так просто,  
как я и теперь не знаю.  
Но лежит она здесь, как и я.  
Никуда не денусь

Я от этой судьбы.  
 Пусть мне ближе судьба другая.  
 Пусть об этой другой  
 я тоскую, качаясь, как в бурю...  
 Но эзэсовца взгляд — все насмешливей,  
 мой — все  
 строже.  
 Он меня —  
 я в крови —  
 презирает, как учит фюрер.  
 Пусть.  
 Я понял уже,  
 что его презираю тоже.  
 Вера? Верил и я.  
 И я знаю, как верят чисто.  
 Был хоть с ним поделиться  
 я правдой готов своею.  
 У него для меня  
 только смерть —  
 ни судьбы, ни истин.  
 Только смерть.  
 Даже странно,  
 что это и есть идея.  
 Видно, знать мне дано,  
 что идей без всеобщности — нету,  
 И что Правда всегда, —  
 даже если, как я, не прав ты, —  
 Это Правда для всех.  
 Или вовсе не Правда это,  
 Просто страстная ложь,  
 вдохновенный отказ от Правды.  
 Просто страстная ложь,  
 где победа — обгон без правил,  
 Вера в то, что сойдет  
 (как приятно, что Вера все же).  
 Не достигнувших Бога  
 в пути подбирает дьявол.  
 Души адский огонь  
 согревает почти как Божий.  
 Это знать мне дано.  
 Хоть я мыслью об этом не знаю.  
 Бога нет!  
 А я верен  
 своим представлениям и  
 взглядам.

Просто в сердце моем  
ноет горечь, как рана сквозная.  
И по-прежнему девушка  
стонет беспомощно рядом.  
Просто девушка эта — раздета —  
как всех раздели.  
Просто очень нежна —  
а в крови у нее рубаха.  
А ээсовец смотрит —  
все так же он верен Цели.  
Я не скоро пойму,  
что все так же он верен Страху.  
На груди его — крест.  
А в глазах — ощущение силы.  
Сталь.  
Стандартная сталь —  
и по мужеству, и по цвету.  
Но все чаще мне кажется:  
что-то еще в них было.  
Что-то было,  
чего я не помню,  
хоть видел это.  
Я лишь ненависть помню одну —  
мне ж всего  
пятнадцать.  
Я не знал до сих пор,  
а теперь уж и знать не буду,  
Что и в ней, и за ней  
подлый страх без нее остаться,  
Что не столько она, сколько он  
в этом хрипе: «Jude!»  
Что лишь ненависть схлынет,  
и ляжет на сердце глыбой  
Всё, что мамой навеяно  
мальчику в курточке куцей,  
Всё, что помнится всем,  
что теперь ему помнить — гибель.  
Как лунатику гибель  
у края стены очнуться.  
...И не скоро поймет он —  
что сам он прижат, как муха.  
Что тут ненависть — верность,  
заметят бесстрастье —  
исторгнут.







Кто кем раньше пожертвует ради всеобщего  
 ..Только где мне об этом подумать блага?..  
в свои пятнадцать?  
 Я лишь танцы кляню —  
в них мещанство и запах гнили.  
 Об огне революций мечтаю —  
гореть и драться.  
 И мне жаль, что давно  
кулаков без меня разбили.  
 И, конечно,  
чекисты в кожанках  
мне снятся часто.  
 В их жестокости вижу я подвиг,  
в их лицах — лики.  
 Как же! — В битве за счастье  
их участь — нести несчастье.  
 Ради правды — грешить.  
Мне тот грех, —  
как святых вериги.  
 Как само бескорыстье,  
чей подвиг почетней риска.  
 Как причастье к сиянью,  
к тому, что от прочих скрыто.  
 Где мне знать, что смешно  
честно верить в свое бескорыстье,  
 Если сам на коне,  
а кому-то в лицо — копыта.  
 Голубая романтика!  
Подлость!  
О, сколько крови,  
 Сколько грязи прикрыть  
ты умеешь от глаз собою...  
 А ээсовец смотрит.  
Он знает, что я виновен,  
 И он знает, как надо  
теперь поступить со мною.  
 Над его головою  
каштанов красные листья.  
 За спиною его  
ловят солнце, как прежде, окна.  
 Рад, что именно он  
этот мир от меня очистит,  
 Вся земля расцветет,  
потому что он здесь не дрогнул.



Судия он теперь...  
 Ложь! Убийца приказа ради.  
 Сам себя я сужу,  
 хоть покамест того не знаю.  
 Рядом девочка с рук  
 потянулась к фуражке: «Дядя!»  
 Вздрогнул все же.  
 Прошла  
 над скулою волна стальная.  
 Враг мой, жалости враг,  
 всё ж он вздрогнул.  
 На миг, и всё же...  
 Но себя обуздал.  
 Вновь стоит, как ряды считая.  
 И я вдруг понимаю,  
 что всё ж мы немного похожи,—  
 Потому что о трудном участке работы  
 и я мечтаю.  
 Потому что, конечно,  
 он тоже живет идеей.  
 У нее ж справедливость своя.  
 К ней причастье — лестно.  
 Хоть причастье к обычной  
 дается куда труднее.  
 А она бы сегодня была мне  
 куда уместней.  
 Я бы мог возмутиться,  
 а так и не пикну даже.  
 Ведь права, что попрали враги,  
 сам ценил я мало.  
 Что сказать!  
 Справедливость  
 бывает своя и вражья.  
 Жаль, что их справедливость  
 сегодня мою подмяла.  
 Вот и все.  
 И лежу  
 среди всех, кого тут скосило.  
 И меня уже нет —  
 даже нету мечты подняться.  
 Да, своя справедливость  
 ничто  
 без поддержки силы...  
 Только этого мне не узнать.  
 Мне навек пятнадцать.





И опять понимаю,  
что только затменье это.  
Что никем я не стал.  
И не стану —  
лежу в Бабьем Яре.  
И в пятнадцать умру.  
И все правда:  
я сжит со света.

1970

### АБРАМ ПРУЖИНЕР

*Сказание о старых большевиках Новороссии  
и новых московских славянофилах*

1. Печатными буквами рукой Николки: Я таки приказываю посторонних вещей на печке не писать под угрозой расстрела всякого товарища с лишением прав. Комиссар Подольского райкома. Дамский, мужской и женский портной Абрам Пружинер.

*Булгаков М. Белая гвардия*

2. Во время большого киевского погрома 1919 года в киевских квартирах можно было видеть у нагрывавших посетителей изысканные манеры, слышать от них недурную французскую речь и даже хорошую музыку. Это действовали офицеры Семеновского, Преображенского и т. п. полков, не позволяющие себе никаких вольностей, но деловито и строго требовавшие дани: денег, золота, серебра...

*Штиф. Н. И. Погромы на Украине (по памяти)*

3. ...история, можно сказать, общее достояние и общее дело, за которое следует всем краснеть.

*М. Зощенко Голубая книга*

### I

На шоссе шуршат машины,  
В магазинах — толчея.  
Предревком Абрам Пружинер,  
В том заслуга и твоя.

Как и в том, что голос взвинчен  
У газет... Что совесть — дым.  
Как и в том, что все мы нынче  
Прочно в заднице сидим.

Это все — твоя эпоха.  
Просто время — «белый гад»:  
Быть евреем снова плохо,  
И заслуг твоих не чтят.

Лишь тебя за все, что было,  
Производят в князи тьмы  
Молодых славянофилов  
Романтичные умы.

Нужен дьявол их натурам, —  
В том вина их иль беда.  
Жаль, но ты такой фигурой,  
Крупной — не был никогда.

Просто в детстве, где-то в Балте,  
Заперевшись на засов,  
Три брошюрки прочитал ты,  
Сочиненья их отцов.

И открылся мир прекрасный  
С той поры глазам твоим,  
И тебе всё стало ясно,  
Как сегодня им самим.

С той же четкостью железной:  
Для чего на свете жить,  
Кто мешает, кто полезный,  
С кем дружить, кого душисть.

Ты с тех пор глядел победно  
На портновский свой удел,  
Тем гордясь, что шьешь для бедных:  
(Для богатых — не умел.)

И, постигнув так впервые  
Общей жизни смысл простой,  
С тем — в истории России  
Появился ты как свой.

## II

Хоть считал, что связан кровно  
С ней не ты (ты жил не в том), —  
А деникинский полковник,  
Что еврейский грабил дом.

Дом буржуйский, дом приличный,  
Где лежал ты, тиф леча,  
Приютивший по привычке  
И чекиста — дом врача.

Дом, тебе враждебный тоже:  
Книги, свет, паркетный пол.  
Дом, в котором сам ты позже  
Реквизицию провел.

Еще как! Удвоив рвенье,  
Шум внося с собой и гром,  
Чтоб избегнуть отношений  
Личных — с классовым врагом.

## III

А пока — больной и слабый,  
Ты следил, объят бедой,  
Как буржуй буржуя грабил  
Из-за нации не той.

Не мужик, не ухарь парень,  
А буржуй чудных кровей, —  
Что осанист был, как барин,  
А картавил, как еврей.

Он и грабил по-другому:  
Не сердился, не орал.  
Просто так — ходил по дому  
И предметы отбирал.

Не рычал, как старший в чине,  
Не надсаживал он грудь,  
Лишь просил, как в магазине, —  
Если можно, завернуть.

Но приказ неумолимый  
В слове слышался любом.  
За его спиной, незримый,  
Не таясь, молчал погром.

Шел с ним рядом, улыбался  
И — молчал. Но знали все:  
Шевельнет полковник пальцем  
И пойдет во всей красе —

Пух перин, одежды клочья,  
Мат кромешный, душный чад,  
Изнасилованной дочери  
Опустевший с ночи взгляд.

#### IV

Но, последней грозен властью,  
Собираясь далеко,  
Тот полковник груз причастья  
К этой грязи — нес легко.

Словно впрямь так был воспитан  
В светлой детской, в мире книг,  
Словно он к таким визитам  
В раннем возрасте привык.

То ль он верил, что евреи  
Ввергли Родину во тьму,  
А раз так — за грех пред нею  
Дань платить должны е му.

То ль узрел в изъятье этом  
Дань порядку, с прошлым связь, —  
Как-никак он к тем предметам  
Был привычен отродясь.

То ль решил, что в этой драме  
Смысл любой едва ли есть,  
И, борясь с большевиками  
За порядок и за честь,

В той борьбе рискуя жизнью, —  
В части собственности он  
Сам стихией большевизма  
Стал отчасти заражен.

## V

Ты согласишься мне едва ли,  
Но для нас, для всей страны  
Вы с ним две одной медали  
Оборотных стороны.

Он исчез давно, навечно,  
Но должна бы по всему  
Все равно поставить свечку  
Ваша партия ему.

Будет только справедливо  
Так отметить вашу связь:  
Это ж он Россию к взрыву  
Вел — как мальчик веселясь.

Он — от злости сатанея,  
Гнал упрямо в красный стан  
Надругательством — евреев,  
Просто плетками — крестьян.

Гнал свирепо, сея беды,  
Жаждал мстить, судить, карать,  
И как зрелый плод — победу  
Вам осталось подобрать.

## VI

Но под докторскою крышей  
Близ полковника того  
Ты о том не думал, слыша  
Голос вежливый его.

Не с того душа болела,  
А от мыслей... Ты страдал  
От обиды: знал, как белых  
Этот врач с надеждой ждал.

Угнетало униженье,  
Общность странная судьбы...  
Все тут было в нарушение  
Правил классовой борьбы.



Всё! Надолго ты потрясся  
Встречей с ним... Не враз постиг,  
Что всего тут жадность класса,  
Подтвержденье четких книг.

В то, что просто и знакомо,  
Вновь поверил ты — да как.  
Хоть смущал азарт погрома  
У полковника в зрачках.

## VII

...Затихал весь город Киев,  
Слыша голос твой в ночи.  
Вся его буржуазия —  
Адвокаты и врачи.

И звенели стекла грустно,  
Когда шел ты по утрам  
По Андреевскому спуску  
Вверх, к Присутственным Местам.

Был, как выстрел, эхом резким  
Каждый шаг твой повторен.  
И в испуге занавески  
Поднимались с двух сторон.

Их подхватывало, словно  
Ветром классовой борьбы...  
...И за каждой — тот полковник  
Избегал своей судьбы.

## VIII

Избегал, стоял на страже,  
И от взора твоего  
Этажи и бельэтажи  
Нагло прятали его.

Пусть не знал ты, где полковник,  
Все ж ты знал, что все равно  
Социально и духовно  
Все вокруг с ним заодно.

Все — как он, того же мира,  
То же скрыто в них, что в нем...  
И врывался ты в квартиру,  
Словно в крепость под огнем.

Но не били револьверы,  
Враг не целился, губя.  
Лишь чужая атмосфера  
Обступала здесь тебя.

Словно кто-то неизвестный,  
Проиграв последний бой,  
Ставил вновь тебя на место,  
Возвышался над тобой.

И разбитый, незаконный,  
Власти отданный твоей,  
Лишь косился удивленно  
На тебя со стеллажей.

Где под слоем белой пыли,  
За тиснением корешков,  
Книги с важностью хранили  
Мудрость «классовых» веков.

## IX

Нежный лепет, страстный шепот,  
Столкновенья лиц и войск,  
Бег за счастьем — грустный опыт  
Всех людских переустройств.

Все открытья, все потери,  
Относительность всех благ.  
Безысходность вер, неверий,  
Бледный свет сквозь этот мрак.

Откровенья всех религий,  
Имена и письмена...  
Заглянувши в эти книги,  
Ты б не понял ни хрена.

Ни тоски, ни жажды света,  
Ни огня, что жжет слепя.  
Ни того, что речь тут где-то  
И о том, что ждет тебя...

Несмотря на диктатуру,  
Книги смысл хранили свой...  
...Буржуазная культура  
Издевалась над тобой.

## Х

Впрочем, свято веря в сдвиги,  
Делом занятый вполне,  
Не смотрел ты в эти книги,—  
Просто видел их извне.

Но понятия не имея,  
Что в них есть,— при всем при том —  
Несозвучность их — и д е е  
Чуял классовым чутьем.

И задетый ими кровно,  
Так ты зло на них взирал,  
Словно в каждой жил полковник,—  
Тот, что вещи отбирал.

Словно скрыть они хотели,  
Притворяясь неумно,  
Что ученых их владелец  
С тем полковником — одно.

## ХІ

Где б вам знать, что он такими  
Был, как вами, удручен,  
Что ученый их владелец  
По ночам, забыв про сон.

И заснуть не мог до света,  
Возмущенно чуя рок...  
Был, как ты, полковник этот:  
Верить доводам — не мог.

## ХІІ

Но и вдруг узнав такое,  
Ты б лишь крикнул: вздорный класс.  
Слишком верил ты в другое —  
В «кто не с нами — против нас».

Твой приказ гремел раскатом,  
И, судьбе своей не рад,  
Тот владелец брел куда-то  
Впереди твоих ребят.

Унося тоску и драму,  
Глядя вдаль, в конец пути...  
Только Ленин телеграммой  
Мог теперь его спасти.

### ХIII

Властелин и рыцарь часа!  
В личной жизни и в борьбе  
Ты чутье и гордость класса,  
Словно Знамя, нес в себе.

И от классовой фортуны  
Опьянев — на всех орлом  
Вниз глядел как бы с трибуны,—  
Даже дома за столом.

Гордый поступью железной  
Знать не мог ты в том году,  
Что ведете всех вы в бездну,  
А себя — на Воркуту.

Что, когда замрут орудья  
После классовой войны,  
Победителей — не будет,  
Будут все побеждены.

Что жидов за те же вины  
Станут снова гнать и клясть,  
И что ты, Абрам Пружинер,  
Будешь зол на эту власть.

Четким шагом, с важной рожей,  
С пистолетом ты ходил...  
...Знал, что быть все это может,  
Тот, кого ты уводил.

#### XIV

Да, про все, что может случиться,  
Знал он — словно вспоминал.  
Безо всякого злорадства,  
А с тоской и болью — знал.

Знал заранее, знал сердито  
То, что после, все стерня,  
Ты постиг...  
И то, что скрыто  
И поныне от тебя.

Знал — хоть мало было проку  
Знать — не мог он ничего.  
Разве если б стал пророком  
Для полковника того.

Где там! В споре, как в угаре,  
Он пред ним с его тоской  
Был бессилён. Как Бухарин  
В дни иные пред тобой.

#### XV

Вспомни, как свистал охотно  
Ты Бухарину в свой час,  
Когда силился, он что-то  
Вам открыть, спасти всех вас —

От позора, от расплаты,  
От беды, грозившей вам...  
А ведь это он когда-то  
Обучил вас всем словам.

Всей профессии героя,  
Сути всех его основ.  
Что помимо за душою  
Вы имели — кроме слов?

Ничего! Вся власть и сила  
В них была — исток и нить.  
Благодарность? Сам учил он  
Это чувство не ценить!

И гремел ваш свист счастливый:  
«Кто б ты ни был — не мути!»  
Так впервые доросли вы  
Спор с Бухариным вести.

И свистали с упоением,  
Ощущая свежесть лет,  
Отгоняя тень сомненья  
От плодов своих побед.

...Впрочем, ты про то не думал —  
Веру в Сталина берег.  
Потому что Ленин — умер,  
Ты ж без Ленина — не мог.

## XVI

На шоссе шуршат машины,  
В магазинах — толчея.  
Все прошло, Абрам Пружинер,  
На исходе — жизнь твоя.

Ты скрываешь раздраженье,  
Непочтением оскорблен.  
Хоть к особому снабжению  
И к больнице прикреплен.

Что ж!.. За равенство ходил ты  
В смертный бой не раз, не два.  
Кровью право заслужил ты  
На особые права.

Тут — хоть многие судачат, —  
Справедливость налицо.  
У тебя есть даже дача —  
Комнатенка и крыльцо.

Есть. Но в этом разве дело,  
Если жизнь — как смутный сон.  
Если мягко, но всецело  
Ты от дела отстранен.

Вновь ты ходишь на собрания,  
И оправдан ты давно.  
Но к секретным заседаниям  
Не допущен все равно.

Хоть всегда любил ты бденья —  
Жить, как счастье, крест неся.  
Хоть приходит в запустенье  
Без тебя идея вся.

## XVII

Но, тая в душе презренье,  
Подписать всегда готов  
Ты бумагу с одобреньем  
Все равно каких шагов.

Цель всю жизнь была над личным.  
Вспомнить цель — ожить опять.  
Цели нет — так есть привычка  
Ради цели предавать.

## XVIII

Есть. И так везде доселе  
Коммунист любой живет.  
Все, что любит — ради цели, —  
Цель включая, — предает.

А друзей — на то вы братья.  
Диалектика — ваш стиль.  
Пил со Сталиным Тольятти,  
Когда ты в кондее стыл.

Он златыми бредил снами,  
Сталин врал, а ты был тих.  
И одно Святое Знамя  
Осеньяло всех троих.

Только в тактике идея —  
Будь всегда на все готов.  
В коммунизме и евреи  
Вдохновенно бьют жидов.

За горами суть свершений,  
Лишь единство нынче в счет,  
Продолжалось бы движенье, —  
Все равно куда придет.

Чушь лепечут, словно попки,  
Но со страстью — веры власть.  
Кто в Москве сейчас у кнопки,  
Тот включает эту страсть.

Кто б он ни был — все едино,  
Результат всегда один.  
Вы как лампе Аладдина  
Подчиненный слепо джинн...

Словно всех вас без печали  
Властным росчерком одним,  
Как гарем свой личный, Сталин  
Сдал наследникам своим.

И над вашей жизнью всею  
Бабий рок — огонь в крови.  
Страсть к идее — без идеи,  
Темперамент — без любви.

А с тобой — что было — сплыло.  
Лишь вобравшим весь твой пыл  
Молодым славянофилам  
Нынче важно, кем ты был.

Ты не злись! Твоя порода.  
Пусть не друг ты им, но — брат.  
Хоть тебе взамен народа  
Нужен был пролетарьят.

И, конечно, есть причины  
Чести той тебе меж них,  
Осознав чужие вины,  
Забываешь стыд своих.

## ХІХ

Стыд — на всех. Мы все такие,  
Все от Бога мы ушли.  
Все друг друга и Россию  
Мы до ручки довели.

Все стремились мы капризно,  
Уплотнив судьбу свою,  
Подменить всю ценность жизни  
Упоением в бою.

Наслаждаться верой чистой,  
Бдеть, чтоб пламень не потух,  
Дух не глохнул. Дух нечистый  
В наше время тоже Дух.



И во мгле, где мысли — тени,  
Где рядится верой злость,  
Наших всех происхождений  
Гнет — слился в один хаос.

В блудословия пустого  
Дым. В бессмысленные дни...  
Нет здесь выхода простого,  
Только сложный — быть людьми.

Ощущать чужую муку,  
Знать о собственной вине,  
Не бросаться друг на друга,  
Словно грех всегда вовне.

## XX

Но у нас не та забота.  
Старый поиск — бить кого.  
Обвиняющих — без счета,  
Виноватых — никого.

Словно можно некой данью  
Отодвинуть страх и тьму.  
Нам чуток бы покаяться! —  
Не приучены к нему.

Нам покаяться бы, люди,—  
Раскопать в душе ключи...  
Недосуг. Все лезем в судьи,  
А иные — в палачи.

## XXI

То ль для складу, то ль для ладу,  
То ль для вящей глубины  
Оторвать меня им надо  
От судьбы моей страны.

Той, что с юности и сразу  
В смысл вошла любого дня,  
Без которой пуст мой разум  
Да и просто нет меня.

Дескать, чуждый ей душою,  
Впрямь я зря листки марал:  
Все, чем жил тут — мне чужое,  
Что вобрал тут — я украл...

Врут! На Родине по праву  
Приобрел я все свое:  
Жалость к людям, гордость славой,  
Стыд тревожный за нее.

## XXII

Возмущен ты? В чем причина?  
Ты не лучше их ни в чем.  
Сам ты был, Абрам Пружинер,  
В честь идеи палачом.

Пусть забыли Голта с Балтой  
Стук чекистских сапогов,  
Пусть и сам не избежал ты  
Рук своих учеников.

Пусть и сам был бит по роже,  
Пострадал в своей игре,  
Был!.. Другие были тоже.  
В той же Балте — при царе.

Поступали тоже круто.  
Правых нету здесь, пойми.  
Тут ни счесться, ни распутать.  
Только тоже — быть людьми.

Как найти на это силы,  
Устоять перед бедой?  
Как?.. Младым славянофилам  
Выход видится простой:

Кровь пролить, но с грязью всею  
Силой кончить навсегда.  
Им чужды твои идеи,  
Но но вкусу простота.

Пусть и с ненавистью в сердце,  
Пусть и духу не терпя,  
За тобой идут.. Не деться  
Никуда им от тебя.

Потому что не мессия,  
Но не черт, как нужно им,  
Ты в истории России  
Безусловно был своим.

### XXIII

Вот исчерпана вся тема:  
Ты, твой путь, твои дела...  
Кто-то скажет, что поэма  
От поэзии ушла.

Скажет: вовсе нет причины  
Освещать стихом этап,  
Где такой Абрам Пружинер  
Смог превысить свой масштаб.

И нелепо тратить силы  
С возмущеньем молодым  
На возню славянофилов  
С честолюбьем их пустым.

Скажут: стыдно, рухнув с выси  
Вечных правд и вечных звезд,  
Пошлых временных коллизий  
Разгрести сухой навоз.

Словно бросил я за далью,  
Позабыв за душной тьмой,  
Свежей пахнувший печалью  
Воздух вечности самой.

С ней — не просто, с ней — тревожно:  
Вечность — жизнь в неправде всей.  
Но себя в ней слышать можно —  
Меру, Бога и людей.

С ней спокойно, ненатужно  
Может пить душа моя  
То одно, что впрямь ей нужно, —  
Вдохновенность бытия.

Что ж, согласен я со всеми.  
Только нам не повезло.  
Откровенно в наше время  
Миром править рвется зло.

Рвется мрак представить светом,  
Спутать силой колдовства  
Все названия предметов  
И любое дважды два.

Это — мрак. И в этом мраке,  
И боюсь — во всем есть связь,—  
Могут люди, как собаки,  
Дочь мою убить, озлясь.

Налететь толпою плотной,  
Оскорбить и растоптать.  
Я боюсь. Ведь безысходно  
К людям ненависть питать.

Сразу сердце станет немо,  
Все, чем жил, угаснет враз.  
...Вот с чего я к этим темам  
Возвращаюсь каждый раз.

И, бросая не впервые  
В морду дня его грехи,  
Сочиняю «лобовые»  
Разозленные стихи.

И стыжусь того не очень,  
Понимая жизнью всей,  
Что в поэзию и осень  
Нет теперь других путей.

Это вечность — знаю точно,—  
Защищать себя зовет.  
И, тоскуя, в каждой строчке,—  
Ею вызванной,— живет.

1971



Пусть кто другой, а мы судить не можем,  
Велик ли в том размах или ничтожен.  
Что ведаем в своем упорстве диком  
Мы о величье? — Грех наш был великим.  
Да, грех... И наш — хоть мы всегда роптали.  
Но понимали ль мы, о чем мечтали?  
Вот Латвия. Мы — здесь. Мечты — не все...  
Что ж грустный, Братским кладбищем брожу я?

...На серых плитах — имена и даты.  
Тишь. Спят в строю латышские солдаты,  
Носившие в бою Не наше знамя,  
Погибшие, возможно, в схватках с нами.  
...Они молчат, я надписи читаю.  
Здесь — все другое, здесь — страна другая.  
Здесь — занята, как встарь, сама собою,  
Она упрямо чтит своих героев.

Вокруг на плитах имена убитых,  
Что ж нет имен на некоторых плитах?  
Они — пусты. Их вид предельно гладок.  
Поверхность — стерта... Наведен порядок  
И в царстве мертвых... Спавший под плитою,  
Как оказалось, памяти не стоит.  
Он к нам до смерти относился худо  
И как бы депортирован отсюда.

Все это — Сталин... Все упреки — мимо.  
Но кем мы сами были? Что несли мы?  
Что отняли у всех? И что им дали?  
И кем бы стали, если бы не Сталин?  
И без него — чем, кроме дальней Цели,  
Мы сами в жизни дорожить умели?  
И как мы сами жили в эти годы,  
Когда он депортировал народы?..

...Что в этом «Мы!»? Намек ли на Идею,  
С которой чем честней мы, тем грешнее?  
Наверно, — так. Но сам не знаю, прав ли?  
Кто был честней, тот был от дел отставлен.  
И всё же — «Мы!»!.. Все! — кто сложнее, кто проще.  
Был общим страх у нас и грех был общим.  
«Мы» — это мы... Пустая злая сила,  
В которую судьба нас всех сплотила.

Мы — жизнь творим. Нам суд ничей не страшен,  
Плевать, что это кладбище — Не наше.  
Оно — мемориал, и он — освоен:  
Обязан каждый памятник, как воин,  
Служит лишь Нам. Лишь Мы одни по праву  
Наследники любой геройской славы.  
«Мы» — это мы...

Лежит плита над мертвым,  
И на плите цветок, хоть имя стерто.  
Знать, кто-то здесь бывает временами,  
Кому плита без букв — не просто камень  
И кто глазами строгими своими  
Читает вновь на ней все то же имя, —  
Знакомое ему, а нам чужое...  
Кто в снах тяжелых видит нас с тобою  
И ту плиту... И ненавидит страстно...  
...А кто другого ждал — тот ждал напрасно.

В его глазах — всегда пустые плиты.  
Жаль, от него навек сегодня скрыты  
Мы. Наша боль, все взрывы нашей воли...  
Проклятье века — разобщенность боли.  
Плевать ему теперь на наши взрывы...  
Что делать? Жизнь не слишком справедлива,  
И лучше быть поосторожней с нею...  
...Средь старых плит есть плиты поновее.

Взгляни на них, и мир качнется, рушась.  
Латинский шрифт: «Бобровс», «Петровс»,  
«Кирюшинс»...

Бобров... Петров... Так!.. Только так вас звали.  
Чужих обличий вы не надевали,  
Не прятались за них на поле бранном.  
Вы невиновны в начертанье странном  
Своих фамилий... Долг исполнив честно,  
Не вы себе избрали это место.

Привыкнув за войну к судьбе солдатской,  
Могли б вы дальше спать в могиле братской,  
А спите здесь меж этих плит немилых,  
На кладбище чужом, в чужих могилах,  
Где кто-то спал до вас, нам жить мешая,  
Где ваш покой смущает боль чужая,  
Как будто вы виной... А вы — солдаты.  
Вы ни пред кем ни в чем не виноваты.

Вселил вас силой на жилплощадь эту  
Без спросу Член Военного Совета  
Иль кто-то равный, ведавший уделом...  
И вряд ли сознавал он, что он делал.  
Он только знал, что есть на то Решенье,  
Как в прошлом был приказ о возвышеньях  
Его внезапном... И как вся карьера,  
Весь опыт жизни и основа веры.

Да, мать его седую здесь бы стала...  
Но ведь она была всегда отсталой,  
Неграмотной... И всех жалела глупо.  
Ну где ей знать, что трупы — только трупы,  
А жизнь — борьба... Все, что, спеша к вершинам,  
Усвоил сын, хоть был хорошим сыном.  
— Еще б живых жалеть... А трупы — ладно! —  
Пусть служат агитации наглядной.

Простите нас, лишённые покоя!  
За всю планету пав на поле боя,  
Лежите каждый вы в чужой могиле,  
Как будто вы своих не заслужили.  
И мимо вас, не подавая виду,  
Пронесут люди горечь и обиду,  
Глядят на вас... И тяжёлый взгляд... И — все же  
Простите нас... Его простите тоже.

Простите... Не со зла он делал это.  
Он просто точно знал, что Бога — нету.  
Кто предсказать бы мог, чем станет позже  
Российских бар игриное безбожье,  
И «либэртэ», и опьяненность Целью!..  
У них был хмель, у нас — всю жизнь похмелье.  
Над нами он, свой долг блюдуший строго.  
Но в чем он видел долг, служа не Богу?

Во что он верил, путаясь во взглядах?  
Скорей всего — в назначенный порядок.  
Где ясно все, где мир жесток и розов,  
Где никогда не задают вопросов...  
Или короче — в твердые начала,  
В то, что его над жизнью возвышало,  
Что вдруг пред ним открыло путь и дали,  
Чему основы знал не он, а Сталин.



...И в этом состоянье очумелом  
Мы жили все. И шли к чужим пределам,  
И, падая в бесславье с гребня славы,  
Смотрели тупо, как горит Варшава,  
Как Сталин ждет, что Гитлер уничтожит  
Тех, с кем и он потом не ладить может...  
А позже с тем же, в танках, в ночь без света,  
Спешили в Прагу, чтоб закрыть газеты.  
Так мы живем... Летим, как в клубах пыли.  
Топча весь мир... За что? Зачем?... — Забыли!  
Но нас — несет... И все нам мало!.. Мало!..  
И гибнет все, на чем бы жизнь стояла,  
И гибнем мы, зверея, как стихия.  
И лжем! — чтоб думал мир, что мы другие.  
И спятил мир, обманут нашей ложью,  
И, доверяясь нам, звереет тоже.

И кажется, что черт завел машину  
Внутри Земли... И бросил ключ в пучину.  
И крутит нас. Мелькают, вместе слиты,  
И Пешт, и Прага, и пустые плиты,  
И я, и Член Военного Совета,  
Хоть он следит, чтоб не открылось это.  
А что — не знает... Ложь неся, как знамя,  
Он сам обманут... Может быть, и нами.

Кем были мы?.. Не все ль равно, кем были?  
Мы все черты давно переступили,  
И — нет конца. ...Все лжем, зовем куда-то.  
И с каждым днем все *дальше* час расплаты,  
Но все страшней... И возвращенья нету.  
И верят нам... И хуже топи это.  
И вырваться нельзя своею силой...  
Спаси, Господь!.. Прости нас  
и помилуй!..

1972 (август—сентябрь)

## МОСКОВСКАЯ ПОЭМА

### 1

«Воронок» развернулся.  
Приказали сойти.  
Переулок уткнулся  
В запасные пути.

Выступают из мрака  
Рельсы... Скоро гуртом  
Мы по ним к вагонзаку,  
Спотыкаясь, пройдем.

С сундучками, мешками —  
Всем своим, что с собой.  
Будет часто пинками  
Подбодрять нас конвой.

Будет бег — не как в детстве:  
С грузом тяжело бежать.  
И все время хотеться  
Будет — руки разжать.

Тяжесть выпустив, бросить,  
Кончить споры с судьбой.  
Ни к чему нам тут вовсе  
Все свое, что с собой.

Пьем до капли из чаши!  
Сбиты все колеи.  
Что тут может быть «наше»,  
Раз и мы — не свои?

## 2

Но толпою хрипящей  
(«Мы» пока еще — мы)  
Все ж мы вещи дотащим  
До вагона-тюрьмы.

Взгромоздимся и стихнем —  
Словно найден покой.  
Словно цели достигнув  
После гонки такой.

И как впрямь отдыхая  
Без надежд и без слез  
От надрывного лая  
И внезапных угроз.

Словно все мы не смяты,  
Не на крайней черте, —  
Просто едем куда-то  
В тесноте, в духоте.

Словно будет там лучше  
И просторней, чем тут.  
Да и нас не чтоб мучить —  
Для другого везут.

3

Для другого? — Едва ли!  
Впрочем — это потом.  
А сейчас мы вначале  
В переулке пустом.

Где сдает поименно  
Нас по спискам «зе-ка»  
Вертухаю с вагона  
Вертухай с «воронка».

Ждем спокойно сигнала,  
Обживаем режим,  
И куда не знаем,  
Что сейчас — побежим.

Он нам кажется ширью.  
Даже волей самой. —  
Этот пункт меж Сибирью  
И Лубянской тюрьмой.

Эта с городом встреча,  
Хоть вокруг ни души.  
Хоть вокруг только вечер  
В привокзальной глуши.

И простая работа  
Двух конвойных бригад.  
Передача по счету  
Нас — как бочек на склад.

4

...Но пока — в предвкушенье  
Новой, страшной главы —  
Я стою в окруженье  
Предосенней Москвы.

И души в ней не чая,—  
Сразу зренье и слух —  
Всю ее ощущаю  
Верст на десять вокруг.

Все, что грезилось, было,  
Что дала, чем взяла,—  
Вдохновила, влюбила,  
Подняла, предала.

Подменяя святыни  
В оправданье себе.  
Заражая гордыней,  
Как причастьем к судьбе.

И сразив для позора,  
Словно светом из тьмы,  
Смыслом глада и мора,  
И сумы, и тюрьмы.—

Как богатством, как счастьем,  
Как любовью молвы —  
Пониманьем, причастьем  
К жесткой воле Москвы.

5

Так что, смят и поборот,  
Я не спорю со злом —  
Просто чувствую город  
В полверсте за углом.

Что жалеет — не очень,  
Чистоты — не блюдет.  
Лишь бестрепетно топчет  
И к свершеньям ведет.

С ним куда-то все гонишь,  
Все — как всадник в седле.  
Но отстанешь — утонешь  
Там, где топчут,— во мгле.

И узришь над собою  
Все, что мыслью отверг:  
Мглу над целой страной,  
Над Москвой — фейерверк.

Здесь от каждого дома,  
От любого огня,  
Как ножом по живому  
Отрезают меня.

6

«Становись!» — приказали.  
Все! — хоть я еще с ней.  
На Казанском вокзале —  
Справа — праздник огней.

Как шампанского брызги,  
Ресторан над рекой,  
Словно отблески жизни,  
Хоть какой-никакой.

«Хоть»!.. Нет, было другое —  
Трата веры и сил.  
Я «какой-никакою»  
Жизнью вовсе не жил.

Хоть и мысль несвязно  
(Страшен века обвал),  
Я и в гуще соблазна  
Честно смысла искал.

И средь страха и дрожи,  
После трудной войны  
Этим связан был тоже  
Со столицей страны.

Смесь из страха и силы  
В жажде веры живой —  
Это, может, и было  
В эти годы Москвой.

7

Что ж, я влился в такую,  
Стал во всем ей сродни,  
Вот теперь и тоскую,  
Видя эти огни.

Потому-то и снится  
Так навязчиво мне,  
Как вдруг все разъяснится  
И — как было во сне! —

Станет на сердце ноша,  
Испарится конвой —  
И опять я хороший  
И, конечно же, свой.

Все как прежде. Все — славно:  
Дружба... Вера в Прогресс...  
И участие в главном —  
В штурме косных небес.

Снова верить легко мне  
В ясность правды земной.  
Только тех бы не помнить,  
Кто здесь рядом со мной.

Кто по первому знаку,  
По путям, как по льду,  
Побредет к вагонзаку,  
Как и я побреду.

8

Мне предать их не трудно.  
Верю с детства почти  
В то, что смятые судьбы —  
Лишь издержки пути.

Верю... Пусть, как в насмешку,  
Нынче, сердце скрепя,  
Мне пришлось в те издержки  
Записать и тебя.

Я держусь... Но боюсь я:  
Страшен с верой разлад.  
Потому так и рвусь я  
Безраздельно назад.

С каждым днем все сильнее  
Злой реальности власть.  
Мне б назад побыстрее,  
Чтоб успеть не отпасть.

Рвусь... Но это — пустое,  
Я отпасть — обречен.  
Я ведь отдан конвою,  
А конвой — ни при чем.

Он сейчас на работе,  
На опасном посту.  
И его не заботит  
То, что я отнаду.

Хоть кричи — глушь сплошная,  
Не услышат... Завяз...

9

Будет день — я узнаю:  
Так Господь меня спас.

Вырвал с кровью, исторгнул  
Против воли души  
Из трясины восторгов  
И прельстительной лжи.

Бросил в холод, в бессилье,  
Мглу на голой земле.  
Или проще — в Россию:  
Вся Россия — во мгле.

Чтобы ночью глухою,  
Находясь вне игры,  
Видел свет над Москвою  
Из России — из мглы.

С теми, с кем я в неволе  
Был сведен на позор,  
Чьей я жертвовал болью  
Так легко до сих пор.

Чтоб открыл: «Как ни мерь ты,  
Кто ценней для страны.  
Перед жизнью и смертью  
Все мы горько равны.

Как пред хлебом и стужей...  
И что Богу видней,  
Кто здесь лучше, кто хуже,  
И что значит: «ценней».

И предстанет иначе  
 Каждый срыв и порыв.  
 И я стану богаче,  
 Свою малость открыв.

Словно воздух свободы  
 И реальность пути,  
 Словно точку отсчета,  
 От которой расти.

...Прорасту!.. Но, однако,  
 Не сейчас и не тут, —  
 Где меня к вагонзаку  
 Так поспешно ведут.

Где, забыв свои мысли —  
 Все, чем жив и дышу,  
 Я как будто из жизни  
 Навсегда ухожу.

Как столица ночная,  
 Погружаюсь во мрак...  
 ...Я пока ведь не знаю,  
 Что все это — не так.

Что, разбитый и слабый  
 И лишенный души, —  
 Я иду по этапу  
 К откровенью от лжи.

Сбитый с толку и с места  
 И не зная, в чем свет...

Мне и то неизвестно,  
 Что чрез несколько лет  
 Вдруг засветятся годы  
 Переменной в судьбе,  
 Робким светом свободы  
 Нас потянет к себе.



И из ссылки сибирской  
Как хотел, как мечтал,  
Впрямь вернусь пассажирским  
Вновь на этот вокзал.

В жажде веры и братства,  
К схватке мыслей и чувств.  
Буду верить... Теряться...  
Вдохновлюсь... Заверчусь...

И открою в смущенье,  
Что свобод торжество  
Не конец, не решенье,  
А начало всего.

Всех вопросов на свете  
Всяких «мы», всяких «я»,  
И трагедий... Трагедий  
Самого бытия.

Вечность мрака и света,  
Бесконечный их бой...  
Лишь ударясь об это,  
Стал самим я собой.

12

В этом — жизнь... И простая  
Мудрость правды земной.  
От чего ограждает  
Нас штыками конвой.

Чем на время встревожит  
Странных лет благодать.  
От чего нас и позже  
Вновь начнут ограждать,

Из преддверья свободы  
Тряханув без затей  
Снова в тусклые годы,  
Как в тупик у путей.

В глупость, в страх, в недоверье...  
Сбив, пустив под откос  
Тех, кто, веря преддверью,  
Стал свободен всерьез.

Возвратилась на место  
Стыдных лет колея,  
И важнее протесты  
Вновь, чем смысл бытия.

13

Но пока я — у края,  
Крест стоит на судьбе.  
Я по шпалам шагаю  
В подконвойной толпе.

И одно мне известно —  
Что не будет легко.  
А до всяких протестов  
Так еще далеко.

Что, ступая на гравий  
Впопыхах, на бегу,  
Я пока и представить  
Дальних бед не могу.

Да и помня, что еду  
Гибнуть в снежном краю,  
Я бы счел эти беды  
Неустройством в раю.

14

Вот дошли. Ноют ноги.  
Давит плечи пальто.  
Я в начале дороги,  
И не скажет никто,

Что она — пусть непросто,  
Пусть и сам согрешу —  
Заведет меня в Бостон,  
Где я это пишу.

Где не думал я сроду  
Жить, где тяжек мой сон...  
Где чужою свободой  
Щедро я наделен...

Где — хоть помню всегда я,  
Чем обязан я ей, —  
Все равно не хватает  
Мне свободы — своей.

И друзей — в чьем сознание,  
В чьих глазах негасим  
Острый смысл пониманья,  
Что над бездной висим.

Всюду — дома, в изгнание,  
В тюрьмах, в райских местах...  
Суть не в бездне — в сознание:  
Бездна рядом и так.

15

Мне сознание это —  
Жизнь в извечной игре.  
Без него как бы нету  
Смысла в зле и добре.

И в защите свободы...  
От кого и к чему? —  
Если движутся годы  
Так спокойно во тьму.

Разве беды нависли?  
Длится сладкая жизнь,  
Где подобие мысли  
Интересней, чем мысль.

Пелена!.. Не проткнуться  
Мне сквозь ту пелену.  
Лишь под ней задохнуться.  
Да и камнем ко дну.

Чтоб в тоске неудачи  
Ощутилось острей,  
Что свобода — не значит  
«Мир свободных людей».

Что висит над юродством  
Тусклой мглы мировой  
Меч судьбы — вологодский  
Тот же самый конвой.

Ладно!.. Люди есть люди —  
 Сгусток плоти земной.  
 Я не знаю, что будет  
 С той и с этой страной.

Знаю: в страшные годы  
 Здесь я лямку тяну.  
 Совесть, Хлеб и Свобода —  
 Все стоит на кону.

Точит жизнь постепенно,  
 Не щадя ничего,  
 Как измена — подмена  
 Жизни, смысла — всего.

Нет, не с целью, не зряче,  
 Не по воле Вождя —  
 В жажде значить, не знача,  
 И вести, не идя.

То же века несчастье,  
 Та ж кимвальная медь,  
 Но теперь не удастся  
 Мне ее одолеть.

Но уже не придется  
 Рассчитаться сполна:  
 Мало сил остается,  
 И чужая страна.

Но как боль, как предтеча  
 И как память души  
 Вновь встает этот вечер  
 В привокзальной глуши.

Зданий мокрая охра,  
 Сердце в мутной тоске,  
 Надзирательский окрик  
 На родном языке.

Поездов громыханье,  
Тупичок без травы,  
А за домом дыханье  
Недоступной Москвы.

В нем бессилье прощанья,  
В бледном зареве высь  
И еще обещанья,  
Что частично сбылись.

Но трусливо-сурово  
Обманули опять...  
...Это снова и снова  
Мне теперь вспоминать.

В безвоздушно-постылой  
Пустоте этих дней.  
Видно, все-таки было  
Что-то — жизнью моей.

18

Было, сплыло, осталось,  
Пронеслось, унеслось.  
Превратилось в усталость,  
В безнадежность и злость.

Было: поиски меры —  
Пусть в безмерном аду.  
Да и все-таки вера,  
Что куда-то иду.

И незнанье той сути.  
Что надежда — пуста.  
Что дороги не будет,  
Кроме той, что сюда.

Это юности знаки:  
Дождик... Запах угля...  
Конвоиры... Собаки...  
И родная земля.

*Май 1977 — март 1978*

## СПЛЕТЕНИЯ

### I

Не стоит всерьез удивляться.  
Что вновь тут за горло я взят.  
Смешно за свободой являться  
В чужую страну — в пятьдесят.

И глупо бурлить постоянно,  
Тревожа вкушающих сон, —  
Кому как наркоз и нирвана —  
Разорванность связи времен.

А впрочем, здесь — так иль иначе, —  
Никто б тебя слушать не стал.  
Поскольку со всем, что ты значишь,  
Ты здесь к дележу опоздал.

И, значит, не ходишь в мундире,  
Ума представляющем знак.  
А все доказательства в мире  
В сравнении с этим — пустяк.

И что возмущаться впустую,  
Как совесть, стоять над душой, —  
При этом и впрямь претендуя  
На угол в квартире чужой.

Конец! Я своим тут не стану,  
Все будет, как было и есть.  
Все — в гибель...

И думать мне странно,  
Что мог я родиться и здесь.

А что?.. Ведь и судьбы и даты  
В наш век так чудно сплетены...  
И вдруг бы сошлось, что когда-то,  
Задолго до Первой Войны, —

Погрязший в духовных беседах  
(Лишь их принимая всерьез),  
Сюда бы приехал мой предок  
И в генах меня бы привез.

Со страху ль, с тоски, с непокорства —  
Не все ли равно отчего,  
Но все совершилось бы просто  
И как бы помимо него.

Пришедший в себя от погрома  
Супругой — однажды бы он  
С детьми был исторгнут из дома  
И втиснут с вещами в вагон.

И встал бы, не сразу освоясь,  
В проходе — застыв... не дыша...  
Но тут же бы тронулся поезд,  
И все б утряслось, не спеша.

И стало бы скоро не тесно  
(Россия — такая страна),  
И он бы нашел себе место, —  
Чтоб было видней, — у окна.

И снова уйдя в свою книгу,  
Два дня не вставая почти,  
Влеком был бы поездом в Ригу  
И курочкой кормлен в пути.

А рядом гремели б события,  
Мелькали б огни... города...  
Навстречу бы — в Киев ли, в Питер,  
В Москву ли — неслись поезда.

И станции были б — дощаты.  
И рядом бы — чуждо-легки —  
Сменялись студенты... солдаты...  
Купцы... слесаря... мужики...

Вносили б надежды и беды  
(Все то, чем тревожил их век),  
Легко б заводили беседы,  
Сдружась, исчезали б навек.

Как будто предчувствуя муки,  
Спасаясь от собственных снов,  
Мечась, — все искали друг в друге  
Надежности... взлета... основ...

...Но чуждый всей этой стихии.  
Уйдя в бормотанье свое,  
Он плыл бы над этой Россией,  
Не глядя, не видя ее.

Все тексты свои разбирая,  
Не мучась тоской никакой.  
Меняя один не-Израиль  
На более мягкий другой.

Осталась бы призраком темным  
В сознании эта земля.  
Не ведаю, что б о ней помнил  
Он, глядя с борта корабля.

Наверно, простор нетревожный  
Всплывал бы... Овины... Овраг...  
Солдатики... Флаг над таможенной...  
Жандарм в станционных дверях...

## II

Но, впрочем, — как это ни мало, —  
Но если б мне так повезло,  
То даже и это, пожалуй,  
Уже б до меня не дошло.

И только б застряло навечно  
В сознание, как миф и как тыл,  
Чудное название местечка,  
Где предок до выезда жил.

И я б вопрошал мимоходом  
Смущенных московских гостей:  
«Мой дед из Ивановки родом.  
Вы, верно, слыхали о ней?  
Ивановка!.. — странное имя...»

А впрочем, к чему эта спесь?  
Ну кто его знает, каким бы  
Я вырос, родись бы я здесь.

Быть может, сызмальства старея,  
Закон неизбежно блюдя,  
Молился б я Богу Евреев  
К избранным лишь снисходя.



Их жизни презрев равнодушно,  
Их болью болеть не спеша...  
...О Господи!...

Как это скучно!  
И как с этим глохнет душа!

...Нет, властны истории сдвиги.  
Скорей бы я, вдрызг вдохновен,  
И здесь те священные книги  
Отверг, как куриный бульон.

Отверг бы с гордыней и шумом,  
Как душный бессмысленный плен.  
И вовсе б не скоро подумал,  
Что нужно и что-то взамен.

Нет, с Богом разделавшись, — сразу  
Вспарил бы уверенно я  
И в свой ненаполненный разум  
Поверил, как в пик бытия.

А после, не сдавшись и скуке,  
Гордясь ею даже слегка,  
Застрял бы в преддверьях науки,  
В сплетеньях ее языка.

И, может быть, стал бы отменным,  
Исполненным сложных забот,  
Престижным саксесыфулмэном<sup>1</sup>,  
Спецом по обрывкам пустот,

Теснящим все признаки жизни  
Плетеньем натужных словес,  
Без всяких марксизм-ленинизмов  
Сознание затмившим, как бес.

Агентом всемирной подмены  
Всех смыслов, основ и начал...  
Но нет!.. Я б таким тут, наверно,  
Не стал, раз в Москве им не стал.

Там тоже различные масти  
Подмены души и ума,  
И та, что внушается властью,  
И та, что родится сама.

---

<sup>1</sup> Усмешливый человек (англ.).

И даже звучит дерзновенно...  
В ней часто изысканность есть  
И вызов... Но это — подмена.  
И в общем, такая, как здесь.

Она и бежит, как известно,  
Сюда, — «чтоб спастись от цепей»,  
И бодро сплетается с местной  
В удавку на шее моей.

Нет, с Богом расставшись, — скорее  
Сперва б я, — спеша, как на пир, —  
И здесь бы зажегся идеей  
Огнем переделывать мир.

И после, — теряя дорогу,  
Но даже не зная о том, —  
Наделал бы глупостей много,  
Каких бы стыдился потом.

И все-таки здесь бы я тоже  
Сегодня — сквозь горечь и срам —  
Вернулся б не к дедовской, может,  
Но — к вере... Как сделал и там.

И, помня свое назначенье,  
Свой смысл ощутив наяву,  
Я так же б тут против течения  
Теперь уже плыл, — как плыву.

Лишь, может, чуть меньше усталый  
(Все ж свой на своем берегу),  
Я б все-таки как-то, пожалуй,  
Здесь выплыл... А так — не смогу.

А так — лишь отчаянье гложет  
(И стыдно — да нет уже сил)...

### III

Но все-таки, все-таки, все же  
Спасибо, что жил я как жил.

Спасибо, что, страхи и крики  
Презрев, как обычный скандал,  
Тот предок мой все свои книги  
В местечке родном дочитал.

Что, всякой враждебен стихии  
И зная, что значит погром,  
Он все ж не сбежал из России...  
И я в ней родился потом.

Не странно ль? Сбежав за границу,  
Держась за последний причал,  
Я рад, что мне вышло родиться  
В стране, из которой сбежал.

Но все — и причастие к небу,  
И к правде пристрастие мое  
(За что и гоним был нелепо,  
И изгнан) — во мне от нее.

И счастлив я, — даже тоскуя, —  
Что я не менял, как во сне,  
Отчизны — одну на другую,  
Равно безразличную мне.

А жил, как положено, — дома,  
На родине, с нею не врозь,  
И резал ножом по живому,  
Когда расставаться пришлось.

И здесь, в этой призрачной жизни,  
Я б, верно, не выжил ни дня  
Без дальней жестокой отчизны,  
Наполнившей смыслом меня.

...Сбежал я — как сдался на милость.  
Гуляю по райским местам. -  
Но все, что мне в жизни открылось,  
Открылось мне все-таки там:

И смысл, и сквозь горе людское  
Цена и мечте, и беде.  
А вместе — и нечто такое,  
Что мне б не открылось нигде.

С чем — как в остальном ни упорствуй,  
Как все ни ломай рубежи, —  
Высокое — буднично-просто  
И лечит от выдумок лжи.

Все это — куда б я ни прибыл, —  
До смерти носить мне в себе.  
Спасибо, спасибо, спасибо,  
Спасибо за это судьбе.

Пусть дома наветы и гимны  
И суетность там же, где высь.  
И, может, Россия погибнет,  
Не тем занята, чтоб спастись.

И может, озлясь бестолково,  
Она еще в страшный свой год  
Меня оттолкнет, как чужого,  
От жизни моей оттолкнет.

И рухну, обиженный ею,  
Шепча ей стихи, как письмо...  
Пусть!..

Если она уцелеет,  
То все утрясется само.

Уладится то, что не ладно,  
Излечится боль в тишине...  
...А если погибнет — не надо  
Самой справедливости мне.

Россия! Да минет нас это!  
Опомнись! Вернись в колею! —  
Кричу я... Но нет мне ответа.  
Да что там!.. Весь мир — на краю.

Туманы подмен у подножья.  
В нирване Нью-Йорк и Париж.  
А сверху, как с Этны безбожья,  
Ты всем изверженьем грозишь.

Как раньше... Хоть прежнего пыла  
Уже воскресить не дано.  
Хоть *все, для чего ты грозила,*  
Сама ты презрела давно.

В том нет уже даже безбожья —  
Ленивый развал бытия.  
Как пеплом завалена ложью  
Там поздняя мудрость твоя.

И все — за броней... Не увидеть  
Твой свет сквозь брони толщину.  
И будут тебя ненавидеть  
За все, у чего ты в плену.

И может, озлишься ты тоже  
В ответ — не оставшись в долгу...  
И чем это кончится, Боже,  
Узнать я уже не смогу.

Но, зная о будущем мало  
И веря не слишком в зарю,  
За то, что ты жизнью мне стала,  
«Спасибо судьбе!» — говорю.

За бледные тропки в тумане,  
Паденья, которых не счесть,  
За ту остроту пониманья,  
С которой не просто и здесь.

Где радостно пляшут у края,  
Не веря глазам и тоске.  
Где медленно я подыхаю  
В прекрасном своем далеке.

31.1.80.

### ПОЭМА ПРИЧАСТНОСТИ

Насмешкой горькою обманутого сына  
Над промотавшимся отцом.

*М. Лермонтов*

Как славно быть ни в чем не  
виноватым —  
Совсем простым солдатом... Солдатом.

*Б. Окуджава*

Не человек — кто в наши дни живет.

*М. Цветаева*

### 1

Ах, Россия, Россия, —  
На плакатике голубь.  
Что нас в горы чужие  
Затянуло, как в прорубь?

Что вдруг стало нам нужно  
Брать кого-то на мушку  
За твоей самой южной  
Точкой — крепостью Кушка?

Кушка... Школьные дали,  
Горы в утреннем дыме...  
И о ней не мечтали  
Мы... Но знали хоть имя.

Хоть считались как с фактом.  
...А что дальше к Кабулу —  
Это все от нас как-то  
Вообще ускользнуло.

2

Это даже и странно.  
Ведь, любя всю планету,  
Мы судили все страны  
Так и эдак... Лишь эту —

Ни вовсю не честили,  
Ни добром поминали.  
Просто так — упустили.  
Будто вовсе не знали.

Занимались не ею  
Мы — на Запад глядели:  
Хоть в хмелю от идеи,  
Хоть оправясь от хмеля.

Обо всем говорили.  
Чтоб о ней — не бывало.

3

...А теперь перекрыли  
Все ее перевалы.

Чтобы впредь кто угодно,  
Хоть по праву рожденья,  
Здесь не шлялся свободно,  
А просил разрешенья.

И чтоб мы разрешали —  
При доверии к цели.  
Чтоб нам тут не мешали  
Делать что нам велели.

Чтоб смирялась стихия  
Перед волей Державы,  
Словно это — Россия,  
И мы все здесь — по праву.

И еще — что похуже,  
Чем стыдней наша сила, —  
Словно вправду нам нужно,  
Чтоб по-нашему было.

Чтоб внедрялась знакомо  
Ложь словес воспаленных.  
Словно это нам дома  
Не обрыдло с пеленок.

Не гнетет без предела —  
Беспросветно... Обидно...

4

Но кому тут есть дело,  
Что и как нам обрыдло?

Что стране этой горной,  
Как и чем нас ломало,  
Раз мы сжали ей горло,  
Оседлав перевалы?..

5

Хуже!.. Снег на высотах.  
Мы торчим в оцепенье.  
Иль, вися в вертолетах,  
Льем огонь на селенье.

Бабы тычутся слепо.  
Дым ползет по ухабам.  
Мы сидим среди неба  
И стреляем по бабам.

И от пиков до кочек,  
От скалы до ущелья, —  
Знать никто здесь не хочет,  
Кто мы есть в самом деле.

Всё таится опасно,  
Всё к стволам прикипело.  
Всё нас видеть согласно  
Лишь сквозь прорезь прицела.

Хоть мы все-таки ропщем,  
Хоть за горло мы взяты,  
Хоть, подумать, — мы в общем  
Неплохие ребята.

Хоть!.. Но это пустое.  
Разве речь о прощенье?  
Мы, как смерть, — за чертою, —  
Вне Добра и общенья.

6

Мальчик, школьник вчерашний,  
На чужом солнцепеке.  
И подумать мне страшно,  
Как мы здесь одиноки.

Школа... Шалости... Шутки...  
После — девичьи письма.  
И подумать мне жутко,  
Как мы здесь ненавистны.

Дома матери дышат  
Нами... Ждут, вспоминая...  
И девчонки нам пишут,  
Даже где мы, не зная.

Подвели мы их круто  
Всех... И всем досадили.  
Не прошли в институты,  
В палачи угодили.

И спасенья — не будет.  
В тыл рванешься — засудят.  
В плен — и там не полюбят,  
Руки-ноги отрубят.



Мы вне чести и славы.  
 Дай, товарищ, мне руку.  
 Нашим делом неправым  
 Мы прижаты друг к другу.

Все — враги нашей силе.  
 Все — хотят нашей крови.  
 И уже мы забыли,  
 Кто здесь прав, кто виновен.

И все злей наши лица,  
 Жжет отчаянность злая,  
 И весь мир нас боится,  
 Нам Добра не желая.

И себя нам все жальче.  
 И одна есть дорога:  
 Глубже в лес... И все дальше  
 От людей и от Бога.

Глубже в лес — и под иглы  
 Взглядов — жгучих и жестких.

Ах, глобальные игры! —  
 Допинг старцев кремлевских.

Допинг!.. Чувства линяют.  
 Глохнет все, кроме власти.  
 И порой заменяют  
 Игры ею — все страсти.

Шутка ль! — Все они в силах.  
 Мир смолкает, робея...  
 И в их старческих жилах  
 Кровь кружится быстрее.

Рвутся в бой, хоть и седы,  
 Словно в день свой вчерашний.  
 Юность длят... И за это  
 Платят юностью нашей.

Нашей кровью и болью,  
Нашим духом и телом.  
И, наверно, судьбою  
Нашей Родины в целом.

Мир доведен до края.  
Он молчит... А взовьется —  
Что мы здесь вытворяем,  
Все на ней отзовется.

Все на ней!.. Безусловно!..  
Чем позднее, тем страшнее...

9

...И, выходит, виновны,  
Мы еще и пред нею.

Всем во вред мы, похоже.  
Как мы узел разрубим?  
Мы ж не выродки все же.  
Мы ведь родину любим.

Воле старцев послушны,  
Возражать избегая,  
Не с того ль мы им служим,  
Что мы ей присягали?

Не с того ль они сила,  
Что себе мы не вняты?..  
Ах, Россия, Россия, —  
Прорубь... Голубь плакатный.

Где ж вы, голуби?.. Нет их.  
Даже помнить нелепо.  
Есть венец пятилеток —  
Огнетет среди неба.

10

Шли в навоз поколенья,  
Мор и холод терпели,  
Чтоб мы так над селеньем  
Без опаски висели.

За броней... И висим мы.  
И стреляем, как пашем.  
И почти что немнима  
Безнаказанность наша.

Да, почти что... Но — мнима.  
С каждым днем она тает.  
Пули бьют чаще мимо.  
Но порой — попадают.

Чаще лишь задевают,  
Ослабев напоследок.  
Но порой пробивают  
И броню пятилеток.

И в махине железной  
Занимается пламя,  
И мы рушимся в бездну,  
Подожженную нами.

И все видится шире.  
Дым глаза застилает.  
И никто в целом мире  
Нам спастись не желает.

И неправда прямая  
(А куда ж нам податься?)  
Все сильней прижимает  
Нас друг к другу и старцам.

Кто поймет нас? — Всю эту  
Заколдованность круга.  
Никого у нас нету —  
Мы одни друг у друга.

Пьем за дружбу, ребята!  
Мы друг к другу прижаты.  
Мы друг к другу прижаты  
И кругом виноваты.

«Мы!» — твержу самовольно,  
Приобщаясь к погостам.  
От стыда и от боли  
Не спасет меня Бостон,

Где в бегах я. Где тоже  
Безвоздушно пространство.  
Где я гибну... Но все же  
Не от пули афганской.

Не от праведной мести,  
Вызвав ярость глухую,  
А в подаренном кресле,  
Где без жизни тоскую.

Где и злость и усталость —  
И пусты и тревожны...  
Где так ясно: — осталась  
Жизнь, — где жить невозможно.

Там, в том Зле, что едва ли  
Мир не сцапает скоро.  
Там, откуда послали  
Этих мальчиков в горы.

12

Мы! — твержу. — Мы в ответе.  
Все мы люди России.  
Это мы — наши дети  
Топчут судьбы чужие.

И вполне, может статься,  
Тем и Бог нас карает,  
Что кремлевские старцы  
В них как в карты играют.

Нет!.. Пусть тонем в проклятьях,  
«Мы!» — кричу, надрываясь.  
(Не «они» ж называть их,  
В их стыде признаваясь.)

Мы!.. Сбежать от бесчестья, —  
Чушь... Пустая затея...  
Мы виновны все вместе  
Пред Россией и с нею.

Тем виновней, чем старше...  
Вспомним чувства и даты.  
Что там мальчики наши —  
Мы сильней виноваты.

Мы — кто сгинул, кто выжил.  
 Мы — кто в гору, кто с горки.  
 Мы — в Москве и Париже,  
 В Тель-Авиве, Нью-Йорке.

Мы — кто пестовал веру  
 В то, что миру мы светим,  
 Мы — кто делал карьеру  
 И кто брезговал этим.

Кто, страдая от скуки  
 И от лжи — все ж был к месту.  
 Уходя то в науки,  
 То в стихи, то в протесты.

Кто — горя, словно в схватке,  
 В мыслях путаясь рваных,  
 Обличал недостатки  
 В нашумевших романах.

Иль, гася раздраженье,  
 Но ища поңиманья,  
 Приходил к постиженью,  
 А порой и к признанью.

Мы — кто жаждал не сдаться,  
 В дух свой веря упорно.  
 Словно нас эти старцы  
 Не держали за горло.

Жил — как впрямь признавая,  
 Что тут бой, а не яма.  
 Адской тьме придавая  
 Статус жизненной драмы.

Да — тоской исходили.  
 Да — зубами скрипели.  
 Все равно — допустили.  
 Все равно — дотерпели.

Старцы — нелюдь. Мы ж — люди.  
Но всю жизнь без печали  
Мы не сами ль на блюде  
Им детей подавали?

Без особых усилий,  
Не поморщившись даже,  
Мы привыкли. Мы были  
В детстве поданы также.

И взлетал так же слепо  
Тот же радостный голубь.  
Надо вырваться к небу.  
Трудно вырваться... Прорубь.

16

Мальчик, сдвинувший брови  
В безысходной печали.  
Меньше всех ты виновен,  
Горше всех отвечаешь.

Как приходится сыну,  
Если предки такие.  
Как за все наши вины  
Отвечает Россия.

*Бостон — Вермонт — Бостон  
1981—1982*

## ВЕРНОСТЬ СЕБЕ

### 1

Полтора́ста лет назад Евгений Баратынский сочинил стихотворение, которое звучит сейчас так, будто оно написано сегодня:

Сначала мысль, воплощена  
В поэму сжатую поэта,  
Как дева юная, темна  
Для невнимательного света:  
Потом, осмелившись, она  
Уже увертлива, речиста,  
Со всех сторон своих видна,  
Как искушенная жена  
В свободной прозе романиста:  
Болтунья старая, затем  
Она, подъяема крик нахальной,  
Плодит в полемике журнальной  
Давно уж ведомое всем.

Это я к тому, что мысль, которая некогда поразила меня до глубины души и надолго, — не сокру, если скажу, что на всю жизнь, — стала самой задушевной, самой для меня важной, можно сказать, основополагающей, сегодня оказалась достоянием журнальной полемики. Повторяя ее, я невольно толкую «давно уж ведомое всем».

А я помню ее, когда она была еще «как дева юная, темна». Ясно помню даже тот день, когда она впервые явилась мне, «воплощена в поэму сжатую поэта».

Поэтом этим был Наум Коржавин.

Впрочем, тогда еще не Коржавин, а Мандель — «Эмка Мандель», как ласково-фамильярно называла его вся литературная, да и не только литературная Москва. А «поэма» (точнее — стихотворение) звучала так:

Была эпоха денег,  
Был девятнадцатый век.  
И жил в Германии Гейне,  
Невыдержанный человек.  
В партиях не состоявший,

Он как обыватель жил.  
Служил он и нашим, и вашим, —  
И никому не служил.  
Был острою злостью просоленным  
Его романтический стих.  
Династии Гогенцоллернов  
Он страшен был, как бунтовщик,  
А в эмиграции серой  
Ругали его не раз  
Отпетые революционеры,  
Любители догм и фраз.  
Со злобой необыкновенной,  
Как явственные грехи,  
Догматик считал измены  
И лирические стихи.  
Но Маркс был творец и гений,  
И Маркса не мог оттолкнуть  
Продельваемый Гейне  
Зигзагообразный путь.  
Он лишь улыбался на это  
И даже любил. Потому,  
Что высшая верность поэта —  
Верность себе самому.

Стихотворение это совершенно меня покорило. Я сразу, со слуха, запомнил его и помню по сей день. Прежде всего оно покорило меня тем, что на нашем литературоведческо-критическом волапуке называется «единством формы и содержания».

Стихотворение прославляло легкость, веселую и беспечную свободу духа. И само оно было — звонким, легким, беспечным, веселым. Прославляемую им свободу оно утверждало не декларативно, а самим ритмом стиха, — свободным и гибким. Даже несколько тяжеловесное слово «продельваемый» и такое же длинное, неуклюжее слово «зигзагообразный», с трудом влезавшее в размер короткой строки, как бы вынуждено было слегка изгибаться, чтобы в этот размер влезть, отчего «продельваемый Гейне зигзагообразный путь» становился не умозрительным, а пластически осязаемым.

Но самым поразительным в этом стихотворении была — венчающая его формула.

Чтобы в полной мере оценить ее, надо хоть на миг окунуться в атмосферу тех незабываемых лет. Со всех перекрестков, из всех репродукторов нам трубили, что превыше всего на свете для каждого гражданина нашей страны, а уж для поэта тем более, должна быть верность Родине, верность Партии, верность Народу. И уж само собой, верность, как тогда говорили, «Великому Делу Ленина — Сталина».

И вдруг:

Высшая верность поэта —  
Верность себе самому!



Самым страшным словом эпохи было слово «двурушник». Не существовало тогда клейма более жуткого, более позорного. А стихотворение Манделя «Гейне» — все, от начала до конца, — было откровенным гимном этому самому (страшно выговорить!) «двурушничеству»:

Служил он и нашим, и вашим,—  
И никому не служил.

Ужасная крамола эта, правда, слегка подпиралась именем Маркса, авторитет которого в ту пору был еще достаточно высок. Но был человек, чей авторитет стоял гораздо выше. И именно он пустил в ход это тяжелое, как смертный приговор, слово «двурушничество». И в полном расцвете сил и власти был другой человек, в только что прогремевшем своем докладе «О журналах «Звезда» и «Ленинград» пустивший в обращение другое, еще более уродливое слово — «наплевизм». А стихотворение, о котором идет речь, — все, от начала до конца, — было гимном этому самому «наплевизму»:

В партиях не состоявший,  
Он как обыватель жил...

Не скрою, Маркс в ту пору показался мне тут притянутым за уши. Притянутым нарочно, чтобы хоть немного самортизировать содержащуюся в стихотворении крамолу.

Но я плохо знал Манделя.

Ни к каким искусственным подпоркам он не прибегал. И если ему надо было выразить нечто крамольное, он делал это не обиняками, а прямо, открыто, без каких-либо околичностей и экивоков.

Но это я узнал потом. Так же, как и то, что мысль, как это мне тогда представлялось, не без лукавства приписанная автором стихотворения ни сном ни духом не ведавшему о ней Марксу, на самом деле принадлежала именно ему.

До сих пор не знаю, читал ли в ту пору своей жизни Мандель Маркса, знал ли понаслышке о суждениях Маркса по этому поводу, или, — что всего вернее, — мог бы повторить вслед за Маяковским:

...но и без чтения  
мы разбирались в том,  
в каком идти,  
в каком сражаться стане.

Так или иначе, но, как выяснилось впоследствии, уже тогда, в ранней юности (стихотворение это было написано им в 1944 году), судил он об этом кровно волнующем его предмете в полном соответствии не только с духом, но даже и с буквой Марксовых мыслей.

«Писатель, — утверждал Маркс, — отнюдь не смотрит на свою работу как на средство. Она — самоцель; она в такой

мере не является средством ни для него, ни для других, что писатель приносит в жертву *ее* существованию, когда это нужно, *свое* личное существование»<sup>1</sup>.

В конце концов не так уж важно, знал Эма Мандель, ставший впоследствии поэтом Наумом Коржавиным, эти Марксовы слова или не знал. Гораздо важнее то, что на протяжении всей своей жизни он именно так смотрел на свое предназначение поэта. Видел в нем не средство, а сам оцель. И когда это было нужно, не задумываясь приносил в жертву ЕГО существованию СВОЕ личное существование.

## 2

Стихотворение Баратынского, с которого я начал эту статью, наталкивает на мысль, что повышенный интерес к лирической поэзии, вспыхивающий в определенные моменты жизни общества, обусловлен некоторыми закономерностями. В периоды, когда идеи и проблемы, волнующие общество, становятся достоянием журнальной полемики, интерес к поэзии падает. И вспыхивает с новой силой, когда общество на распутье, когда идеи и проблемы, волнующие его, еще не оформлены, а лишь формируются, когда общество движется к постижению этих идей как бы оцунью. Вот тут-то и возникает обычно поэтический бум.

Не случайно такой поэтический бум возник в середине 50-х, после XX съезда. Не случайно именно тогда впервые прозвучали новые поэтические имена. И не случайно концертные залы, где выступали тогда молодые Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Булат Окуджава, штурмовали людские толпы, еле сдерживаемые нарядами конной милиции.

Этому буму предшествовал, быть может, не такой массовый, но не менее горячий и бурный поэтический бум середины 40-х.

Тому тоже были свои причины, в своем роде не менее важные, чем потрясший страну в 1956 году XX съезд.

Для людей, только что переживших войну, она была не только огромной народной бедой и не только подвигом, не только невыносимым напряжением всех их человеческих сил, и физических и духовных. «Она промчалась как очистительная буря, как веянье ветра в запертом помещении», — позже скажет о ней Пастернак. И добавит: «Трагический тяжелый период войны был вольным, радостным возвращением чувства общности со всеми».

Это чувствовали не только люди старшего поколения, но и молодые, только что вернувшиеся домой в гимнастерках и военных шинелях, — те, для кого война по сути вместила в себя в с ю их сознательную жизнь.

<sup>1</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. I, с. 76.

Если вычеркнуть войну,  
Что останется? Не густо:  
Небогатое искусство  
Беречь свою вину.

Что еще? Самообман,  
Позже ставший формой страха.  
Мудрость, что своя рубаха  
Ближе к телу. И туман...

Нет, не вычеркнуть войну,  
Ведь она для поколения —  
Что-то вроде искупленья  
За себя и за страну...

Ведь из наших сорока  
Было лишь четыре года,  
Где бесстрашная свобода  
Нам, как смерть, была сладка.

Так сформулирует это потом Давид Самойлов. Но это — потом. Тогда, в 45-м, никто из них не сознавал это так ясно. Но эта «бесстрашная свобода» все-таки ощущалась в стихах молодых тогда Семена Гудзенко, Александра Межирова, Сергея Наровчатова, Михаила Луконина. И этим-то они и привлекали к себе людские сердца.

На фоне политизированной рифмованной трескотни предвоенных и военных лет стихи молодых поэтов, вернувшихся с войны, казались глотком свежего воздуха. Они покорили читателя прежде всего реальностью выраженного в них чувства. (Такой же реальностью за несколько лет до того захватили читателя лирические стихи молодого Симона.)

Но в неоформленном общественном сознании первых послевоенных лет было и нечто такое, чего поэты, вернувшиеся с войны, почти не коснулись.

Людам, только что пережившим нечеловеческое напряжение великой военной страды, хотелось верить, что послевоенная жизнь будет не такой, какой она была в предшествующие годы, что «повальный страх тридцать седьмого года» никогда больше не будет томить и калечить их души. Но эта надежда жила в их сердцах как некая смутная идея, неосознанная, неосмысленная. Какое уж тут осмысление, когда даже подумать об этом наедине с собой — и то было страшно. «То был рубеж запретной зоны», как скажет об этом годы спустя Александр Твардовский.

Ни один из поэтов, с именами которых связан поэтический бум середины 40-х, не посмел не то что перешагнуть этот рубеж, но даже приблизиться к нему.

Единственным, кто его перешагнул, был «Эмка Мандель», будущий Наум Коржавин.



Повторяю, мне было тогда десять лет. Кроме того, я не исключаю, что был на редкость глупым и даже недоразвитым ребенком.

Но вот слова, сказанные в ту же пору взрослой женщиной, сознательная жизнь которой проходила к тому же в не совсем обычной для среднего советского человека среде.

Жена Б. Л. Пастернака сказала кому-то из своих близких:

— Мои дети больше всего любят Сталина, а уж потом — Борю и меня.

Я так же далек от того, чтобы сомневаться в искренности этих невероятных слов, как и от того, чтобы усомниться в искренности той, давней своей детской реакции на факт существования избирательной кабины. Но парадокс состоит в том, что и взрослая интеллигентная женщина, произнесшая эти слова, и десятилетний мальчик, убежденный, что каждого, кто войдет в кабину, надо немедленно арестовать, — оба они были искренни и неискренни в одно и то же время. И та и другая реакция, при всей своей непосредственности, была не чем иным, как сублимацией страха. Того тотального, всепоглощающего, в каждую нервную клетку нашего существа вросшего страха, о котором сказал в своих полудетских стихах Н. Коржавин:

...в их сердцах почти что с детских лет  
Повальный страх тридцать седьмого года  
Оставил свой неизгладимый след.

И дети, и взрослые, — все мы подсознательно знали не только, что нам полагается говорить, но и что нам полагается думать и как нам полагается чувствовать. И были при этом искренни. Из всех сил старались быть искренними, чтобы, упаси Бог, не дать повод даже самим себе заподозрить себя в какой-либо двойственности. (В том самом пресловутом «двурушничестве».)

Вот какой была та социальная атмосфера, в которой девятнадцатилетний юноша написал:

Иначе писать не могу и не стану я,  
Но только скажу, что несчастная мать.  
А может, пойти и поднять восстание?  
Но против кого его поднимать?

И это:

...я поверить не умел никак,  
Когда насквозь неискренние люди  
Нам говорили речи о врагах...  
Романтика, растоптанная ими,  
Знамена запыленные — кругом...  
И я бродил в акациях, как в дыме.  
И мне тогда хотелось быть врагом.

И вот это:

Мы родились в большой стране, России.  
Как механизм губами шевеля,  
Нам толковали мысли неплохие  
Не верившие в них учителя...

Все эти стихи (и многие другие, не менее по тем временам крамольные) он читал вслух, публично. Читал в залах, переполненных стукачами. Не только штатными доносчиками, но и людьми, готовыми сообщить Куда Надо под гипнозом страха или искреннего гражданского негодования, которое, как уже было сказано, в девяносто случаях из ста было не чем иным, как сублимацией все того же тотального, мистического страха.

Может показаться, что я веду речь не о поэзии, а о чем-то ином. О гражданских добродетелях. О смелости. Но сам Коржавин, оценивая эти свои юношеские «безумства», судил о них иначе. «Я сроду не был слишком смелым», — признавался он.

Он и в самом деле сроду не был слишком смелым, и поступать так, а не иначе его вынуждало только одно: то, что он был поэтом.

Что вынудило слабого, затравленного, боящегося физических страданий Мандельштама сочинить свои крамольные стихи о Сталине, почти наверняка (он не мог не понимать этого) чреватые для него гибелью? Мало того! Не только сочинить, но, сочинив, прочесть — и не двум-трем самым верным и надежным друзьям, а одиннадцати знакомым? Что заставило его поступить так чудовищно неосторожно? Гражданские чувства? Ненависть к тирану? Жажда разоблачить и унижить ненавистную ему силу деспотизма? Осмеять ее хотя бы перед одиннадцатью слушателями?

Мотивы деятельности революционера тут были бы вполне очевидны. Революционер поступает так в целях пропагандистских. Он вербует единомышленников, потенциальных сторонников.

Поэт движим иными побуждениями. Соображения целесообразности ему чужды.

«...Виновата ли я, что не повыгоняла всех друзей и знакомых и не осталась с глазу на глаз с О. М., как делало большинство моих современников? — задает себе мучительный вопрос жена поэта. — Мою вину умаляет только то, что О. М. все равно удрал бы из-под присмотра и прочел недопустимые стихи... первому встречному. Режим самообуздания и самоареста был не для него».

Режим самообуздания и самоареста был не для него не потому, что такой уж у него был строптивый, необузданный характер. Дело тут не в индивидуальных свойствах того или иного характера, а в той готовности принести в жертву глав-

ному делу своей жизни свое личное существование, которую Маркс считал коренным условием писательского призвания.

Но разве призвание поэта состоит в том, чтобы ч и т а т ь свои стихи первому встречному? Разве оно не исчерпывается целиком и полностью тем, чтобы их сочинить?

Ты царь: живи один. Дорогою свободной  
Иди, куда влечет тебя свободный ум,  
Усовершенствуя плоды любимых дум,  
Не требуя наград за подвиг благородный...

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд:  
Всех строже оценить умеешь ты свой труд... и т. д.

Эту заповедь Пушкина можно понять так, что читатель, слушатель поэту вовсе не нужен. Конечная, даже единственная цель творчества состоит в том, чтобы «усовершенствовать плоды любимых дум», довести это совершенствование до некоего художественного идеала, судить о котором дано только самому автору, а там — хоть трава не расти!

Но такой вывод был бы чересчур поспешным. И не только потому, что поэту по естественной человеческой слабости всегда х о ч е т с я хоть с кем-нибудь поделиться результатом своего труда. («Стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузьмичу графинчик водки перед обедом», — резонно говорит Швабрин Гриневу в пушкинской «Капитанской дочке».)

Нет, дело тут не в естественной человеческой слабости, не в трогательной жажде сочувствия и похвал.

По определению Александра Блока, сформулированному им в его знаменитой пушкинской речи, потребность во что бы то ни стало донести свои стихи до читателя или слушателя является необходимым условием, без которого служение поэта, его н а з н а ч е н и е не может быть осуществлено.

Служение поэта, по мысли Блока, можно разделить на три стадии, три этапа, три д е л а.

Совершив свое первое дело, которое Блок называл «вскрытием духовной глубины» и говорил, что «оно так же трудно, как акт рождения», поэт озабочен тем, чтобы «поднятый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен в прочную и осязательную форму слова; звуки и слова должны образовать единую гармонию. Это — область мастерства...» Оговорив, что мастерство тоже требует вдохновения и что поэтому никаких точных границ между первым и вторым делом поэта провести нельзя, Блок так говорит о последнем, третьем его деле:

«Наступает очередь для третьего дела поэта: принятые в душу и приведенные в гармонию звуки надлежит внести в мир. Здесь происходит знаменитое столкновение поэта с чернью».

Столкновение это — неизбежно. В каждую историческую

эпоху оно принимает свои формы. Иногда выступая в форме конфликта поэта с не понимающей его публикой, как говорит Пушкин, — с толпой, иногда — в форме конфликта поэта с цензурой.

В наше время потребность поэта довести до конца свое третье дело неизбежно сталкивала его с самой мощной и влиятельной силой тоталитарного государства, с его «карающим мечом». Попытка поэта исполнить свое предназначение неизбежно влекла за собой его арест, тюрьму, ссылку, второй арест, лагерь, гибель (как это было в случае с Мандельштамом). При более благоприятных обстоятельствах дело могло обойтись лишь ссылкой, а позже вынужденной эмиграцией (как это вышло в случае с Коржавиным).

Но своеобразие отношений, которые сложились в нашу историческую эпоху у поэта с «чернью», не сводится только к новым формам вмешательства «черни» в третье дело поэта.

Новая историческая эпоха породила множество неведомых прежним временам неодолимых препятствий и помех, бесконечно затруднивших, сделавших почти невозможным даже и первое дело поэта.

#### 4

«Я не понимаю и не люблю, — говорил Л. Н. Толстой, — когда придают какое-то особенное значение «теперешнему времени». Я живу в *вечности*, и поэтому рассматривать все я должен с точки зрения вечности. И в этом сущность всякого дела, всякого искусства. Поэт только потому поэт, что он пишет в вечности».

В былые времена связь поэта с вечностью представлялась чуть ли не мистической. Предполагалось, что в душе поэта есть некий компас, который никогда его не подведет. Вернее, это даже не предполагалось. Это сообщалось как истина, не подлежащая сомнению:

Качка слабых мучит и пьянит.  
Круглое окошко поминутно  
Гасит, заливая хлябью мутной —  
И трепещет, мечется магнит.

Но откуда б, в ветре и тумане,  
Ни швыряло пеной через борт,  
Верю — он опять поймает Nord,  
Крепко сплю, мотаясь на диване.

Не собьет с пути меня никто.  
Некий Nord моей душою правит,  
Он меня в скитаньях не оставит,  
Он мне скажет, если что: не то!

(И. Бунин)



Бывали эпохи, когда «качка» была такой сильной, что все представления, все ценности оказывались перевернуты, поставлены с ног на голову. Но таинственный компас в душе поэта неизменно указывал ему, где истина. При каждой опасности увлечься, соблазниться ложью — предостерегал, помогал найти единственно верное направление.

Я чуть было не написал, что в эпоху, которая выпала на нашу долю, «качка» достигла невиданной прежде силы. Но то-то и дело, что это была не «качка». Это была гигантская магнитная буря. И не мудрено, что стрелка «компаса», управляющего душой поэта, заметалась и почти совершенно утратила извечно присущее ей свойство искать и находить тот «Nord», о незыблемости которого с такой высокомерной уверенностью говорил Бунин.

Понимание, что «стрелка компаса» сбилась с пути, что она указывает не туда, пришло не сразу (к некоторым оно не пришло вовсе).

Н. Коржавин понял и сформулировал это раньше многих:

Когда устаю,— начинаю жалеть я  
О том, что рожден и живу в лихолетье,  
Что годы растрочены на постиженья  
Того, что должно быть понятно с рожденья.  
А если б со мной не случилось такое,  
Я мог бы, наверно, постигнуть другое,—  
Что более вечно и более ценно,  
Что скрыто от глаз, но всегда несомненно.

Ну, если б хоть разумом Бог бы обидел,  
Хоть впрямь ничего б я не слышал, не видел,  
Тогда б... Что ж, обидно, да спросу-то нету...  
Но в том-то и дело, что было не это.  
Что разума было не так уж и мало,  
Что слуха хватало и зренья хватало,  
Но просто не верило слуху и зренью  
И собственным мыслям мое поколение.

Кому другому, но ему и в самом деле грех было жаловаться на недостаток слуха и зренья. То, о чем трубят сегодня со страниц всех газет, открылось ему раньше, чем многим куда более умудренным жизнью современникам:

Мне нечего будет  
сказать на митинге.

А надо звать их.

Молчать нельзя ж!

А он сидит,

очкастый и сытенький,  
Заткнувший за ухо карандаш.

Пальба по нему!

Он виден ясно мне!

— Огонь! В упор!

Но тише, друзья:

Он спрятался  
за знаменами красными,  
А трогать нам эти замена —  
нельзя!

Это было написано в 1944 году. В этих наивных, полудетских, еще очень несамостоятельных (под Маяковского, даже с «лесенкой») стихах уже вполне явственно, хотя и несколько плакатно («очкастый и сытенький») запечатлен образ «аппаратчика», незаконно присвоившего себе право говорить от имени великой революции и насильственно вынуждающего нас (до сих пор!) отождествлять себя с нею.

Сегодня эти выцветшие, обветшавшие, траченные молью знамена уже ни от кого не в силах заслонить то, что у нас сейчас зовут командно-административной системой, или сталинскими деформациями социализма, или еще как-нибудь. Но тогда алый цвет этих знамен еще сохранял такую огромную власть над мечущейся в поисках истины душой поэта, что в какие-то минуты он готов был счесть эту открывшуюся ему истину ложью, отвернуться от нее, объявить доставшееся ему знание заблуждением, а увиденный им с такой ослепительной ясностью мир — вывернутым наизнанку:

Я все на свете видел наизнанку  
И путался в московских тупиках.  
А между тем стояло на Лубянке  
Готическое здание Чека.

Оно стояло и на мир смотрело,  
Храня свои суровые черты.  
О, сколько в нем подписано расстрелов  
Во имя человеческой мечты...<sup>1</sup>

Это стихотворение датировано 1945 годом. Следовательно, оно было написано спустя всего лишь какой-нибудь год (а может, и того меньше) после тех стихов, в которых он с маниакальным упорством твердил о своем потаенном, с трудом подавляемом желании «поднять восстание».

Что же случилось с ним за этот год? Что побудило его, говоря уже привычным нам теперь языком Джорджа Оруэлла, «полюбить Старшего Брата»?

Конечно, это стремление «полюбить Старшего Брата» отчасти присутствует и в стихотворении о знаменах. Нет,

---

<sup>1</sup> Это стихотворение автор не включил в нынешнюю свою книгу «из понятного — как он выразился по сходному поводу — стремления к цельности». Но он счел необходимым сохранить его в рукописном сборнике конца 60-х годов — первой своей попытке собрать воедино главное из всего им написанного. Я цитирую его по этому рукописному сборнику.



За этим невзрачным, внешне вполне безобидным человеком (что страшного, например, в карандаше, заткнутом за ухо?) ему видится отвратительный призрак буржуазного перерождения. Мудрено ли, что в сравнении с этим жутким призраком мрачное здание Чека (непонятно почему, — вероятно, для красоты? — названное готическим) кажется ему гораздо меньшим злом. Собственно, даже не злом, а последним оплотом истинной революционности, последним «полюсом советским».

При всей своей советской сверхортодоксальности стихотворение это, — какой бы чудовищной нелепостью это ни представлялось нам сегодня, — в те времена, когда оно было написано, отдавало крамолой. Как я уже говорил, цитируя Твардовского, — «то был рубеж запретной зоны». А Коржавин, хоть на сей раз совсем с другой стороны, упорно продолжал толкаться в опутанную колючей проволокой стену, отделявшую эту самую запретную зону от остального мира. Как магнит влекла его к себе эта проклятая зона, которую поэты давно уже научились обходить далеко стороной. Тут было даже не так уж и важно, какой ответ пытался он дать на мучившие его проклятые вопросы: положительный или отрицательный. Крамолой был сам вопрос. Уже сам по себе он как бы предполагал наличие сомнений, которых у настоящего советского человека, разумеется, быть не могло.

Сомнения все же возникали. И каждый, кто не в силах был запретить себе размышлять на эту тему, пытался хоть как-то разрешить их.

Незадолго до войны старший современник Коржавина Павел Коган сочинял роман в стихах, в котором, с презрительной ненавистью помянув «обуржуазившихся» жен ответственных работников («И мы с цитатами из Даля следили дамочек в ТЭЖЭ»), довольно-таки прямо дал понять, что кровавый тридцать седьмой, по его разумению, был возмездием, справедливо настигшим партийных перерожденцев — мужей вот этих самых ненавистных ему «дамочек».

Нетрудно заметить, что эта попытка по-своему понять и объяснить сокровенный смысл происходящего — в чем-то сродни коржавинской.

Но была между этими двумя попытками и весьма существенная разница.

Павел Коган утешал себя тем, что жертвами «большого террора» в тридцать седьмом были не какие-то там мифические шпионы и диверсанты, в существование которых он верил так же мало, как Коржавин, а вот эти самые, ненавистные им обоим — «очкастые и сытенские».

Коржавин утешаться соображениями такого рода уже не мог, поскольку ясно видел, что этот главный его враг, спрятавшийся «за знаменами красными», этот «противный, как слизь», произносящий насквозь неискренние речи о врагах, — что именно он-то как раз и стоит за спиной тех, кто тво-



Коржавин невольно придал этому стихотворению более широкий, я бы сказал, мировоззренческий смысл:

Меня, как видно, Бог не звал  
И вкусом не снабдил утонченным.  
Я с детства полюбил овал  
За то, что он такой законченный.  
Я рос и слушал сказки мамы  
И ничего не рисовал,  
Когда вставал ко мне углами  
Мир, не похожий на овал.  
Но все углы, и все печали,  
И всех противоречий вал  
Я тем больнее ощущаю,  
Что с детства полюбил овал.

Для Павла Когана овал — символ всего, что по самой сути своей враждебно поэзии. Это для него чуть ли не синоним пошлости, сытого обывательского благополучия. В знаменитой своей «Бригантине», ставшей гимном целого поколения, он провозглашает тост «за яростных, за непохожих, за презревших грошевой уют».

Нельзя сказать, чтобы такое мироощущение было Коржавину вовсе чуждо. («У всех поэтов ведь судьба одна... Меня везде считали хулиганом, хоть я за жизнь не выбил ни окна...», «А в голове крутилось и вертелось от множества революционных книг...») Но уже тогда (в 1944 году) он сознавал, что поэт — д и т я г а р м о н и и. И именно поэтому любое проявление дисгармонии («все углы, и все печали») для него нестерпимо. Именно поэтому чужую боль, чужое страдание он воспринимает как свои собственные.

Но если это так, что же тогда все-таки заставило его всего лишь год спустя сочинить стихи, прославляющие «красную Лубянку»? Как объяснить это внезапное затмение ума, еще недавно бывшего таким ясным? Почему вдруг возникла у него эта странная потребность — воспеть то, что было враждебно самой его природе?

## 5

28 января 1936 года в «Правде» была напечатана статья «Сумбур вместо музыки», в которой разгромной, уничтожающей критике подверглась опера Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Статью эту прочел писатель Юрий Олеша. И вот что он при этом подумал:

«Эта статья сильно ударила по моему сознанию. Музыка Шостаковича мне всегда нравилась... И вдруг я читаю в газете «Правда», что опера Шостаковича есть «Сумбур вместо музыки». Это сказала «Правда». Как же мне быть с моим отношением к Шостаковичу?..

Легче всего было бы сказать себе: я не ошибаюсь,

и отвергнуть для самого себя, внутри, мнение «Правды».

К чему бы это привело? К очень тяжелым психологическим последствиям.

У нас, товарищи, весь рисунок общественной жизни чрезвычайно сцеплен. У нас нет в жизни и деятельности государства самостоятельно растущих и движущихся линий. Все части рисунка сцеплены, зависят друг от друга и подчинены одной линии... Если я не соглашусь с этой линией в каком-либо отрезке, то весь сложный рисунок жизни, о котором я думаю и пишу, для меня лично рухнет: мне должно перестать нравиться многое, что кажется мне таким обаятельным. Например, то, что молодой рабочий в одну ночь произвел переворот в деле добычи угля и стал всемирно знаменитым. Или то, что Литвинов ездит в Женеву и произносит речи, влияющие на судьбы Европы...

Если я не соглашусь со статьями «Правды» об искусстве, то я не имею права получать патриотическое удовольствие от восприятия этих превосходных вещей — от восприятия этого аромата новизны, победоносности, удачи, который мне так нравится».

Я привел эту довольно длинную выписку из речи Юрия Олеши на обсуждении статьи «Правды» об опере Шостаковича, потому что Олеша в этой своей речи очень хорошо выразил самую суть интересующей нас психологической коллизии. Он очень тонко почувствовал претензию Государства на абсолютную, тотальную власть над душами своих граждан. Вопрос стоял именно так: либо ты радостно и притом совершенно искренно приемлешь все, целиком, либо ты — не на ш (или «двурушник», что то же самое).

«И мне тогда хотелось стать врагом», — признается Коржавин в стихотворении 1944 года.

«А может, пойти и поднять восстание?..» — терзается он в другом стихотворении того же года.

Это желание стать врагом, эта крамольная мысль о том, чтобы «поднять восстание», возникла у него не потому, что Государство повелело ему разлюбить музыку Шостаковича, а по причинам гораздо более существенным. Оно возникло потому, что «шли в ночь закрытые автомобили и дворников будили по ночам», потому что «насквозь неискренние люди нам говорили речи о врагах», потому что вокруг царили лицемерие, ложь, кровь, грязь, палачество, и центром всего этого кровавого кошмара было — вот это самое, расположившееся на Лубянке, «готическое здание Чека».

Это означало, что выбор у него был небольшой. Либо не в сослагательном наклонении («мне хотелось»), а всерьез ощутить и осознать себя врагом всей этой жизни. Либо — признать не только законность, не только необходимость, неизбежность существования этого самого «готического здания», но даже его благодетельность.

(Вспомним, что в романе Евгения Замятина «Мы» палач, одновременно являющийся главой Единого Государства, официально именуется Благодетелем.)

Отвергнув первый вариант (а он его отверг: «...трогать мне эти знамена нельзя!»), он вынужден был принять второй.

В моем изложении все это обрело форму некоего логического построения, геометрически строгого, а потому примитивно плоского. В действительности, однако, тут действовала не логика, а жажда гармонии. Стремление воспринимать мир цельным, не раздробленным, не распавшимся на куски.

К чести поэта надо сказать, что эта попытка отстоять гармонию, сохранить гармоничность своего мироощущения такой ценой ему не удалась. Какая уж тут гармония, если завершается стихотворение самой настоящей истерикой:

...На одних руках  
Я приползу на красную Лубянку...

В этой истерике отчетливо слышно стремление автора истошным криком заглушить шевелящийся в его душе ужас.

В те годы все мы повторяли ставшие хрестоматийными строки Пастернака:

Напрасно в дни великого совета,  
Где высшей страсти отданы места,  
Оставлена вакансия поэта:  
Она опасна, если не пуста.

Повторять-то мы их повторяли, но вряд ли в полной мере понимали весь их глубинный, пророческий смысл.

Вакансия поэта тогда была опасна не потому, что поэтов убивали. Во всяком случае, не только поэтов. Она была опасна еще и потому, что к поэзии надо было продираться сквозь такие препоны, каких прежний мир не знал. Никогда еще зло так нагло и так изощренно не притворялось добром. Никогда еще так успешно не узурпировало, не присваивало себе все prerogatives добра, даже святости. Остаться поэтом в этих условиях было нелегко.

Ценность и художественная сила лучших стихов Н. Коржавина того времени прежде всего в том, что в них видно, чего стоило поэту в этом перевернутом мире, где сдвинуты все координаты, оставаться самим собой. Надо было каждый день продираться к истине, к поэзии (а это, в сущности, одно и то же) сквозь все новые и новые ряды колючей проволоки, оставляя на ней клочья живого мяса и живой души:

Мороз был — как жара, и свет — как мгла.  
Все очертанья тень заволокла.  
Предмет неотличим был от теней.  
И стал огромным в полутьме — пигмей.



И должен был твой разум каждый день  
Вновь открывать, что значит свет и тень.  
Что значит ночь, и день, и топь, и гать...  
Простые вещи снова открывать.

Он осязание мыслью подтверждал.  
Он сам с годами вроде чувства стал...

Стихотворение это (оно было написано в 1956 году) называется «Рассудочность». Название — полемично. Во все времена принято было считать, что поэзии принадлежит сфера чувств, а отнюдь не разума. Поэтому слово «рассудочность», отнесенное к лирическим стихам, неизменно воспринималось как ругательное. Склонность высокомерно третировать разум свойственна была отнюдь не только окололитературному обывателю, привыкшему рассматривать лирическое стихотворение как выплеск страстей, сгусток эмоций. Такое понижение поэзии было свойственно многим подлинным и даже крупным поэтам. Говоря о себе и поэтах своего поколения (Маяковском, Асееве), Пастернак заметил однажды: «Мы... писали намеренно иррационально, ставя перед собою лишь одну-единственную цель — поймать живое. Но это пренебрежение разумом ради живых впечатлений было заблуждением... Высшие достижения искусства заключаются в синтезе живого со смыслом».

Но в стихотворении Коржавина, которое я привожу, речь идет не о гармоническом единстве, не о синтезе «живого со смыслом», а о ставке на разум, как на единственную возможность пробиться, прорваться к ж и в о м у, ощутить и выразить это ж и в о е:

Другие наступают времена.  
С глаз наконец спадает пелена.  
А ты, как за постыдные грехи,  
Ругаешь за рассудочность стихи.

Но я не рассуждал. Я шел ко дну.  
Смотрел вперед, а видел пелену.  
Я ослеплен быть мог от молний-стрел.  
Но я глазами разума смотрел.

И повторял, что в небе небо есть  
И что земля еще на месте, здесь.

Что тут пучина, ну а там — причал.  
Так мне мой разум чувства возвращал.

Нет! Я на этом до сих пор стою.  
Пусть мне простят рассудочность мою.

Юношеские стихи Коржавина, которые я во множестве здесь цитировал, показывают, что пренебрежение разумом ради живых впечатлений в немалой степени было и ему

присуще. Но именно разум, корректирующий ошибки зрения, осязания, слуха и сам ставший «чем-то вроде чувства», позволил ему разглядеть еле брезживший свет истины задолго до того, как у всех «с глаз наконец упала пелена».

«Я ослеплен быть мог от молний-стрел», — говорит Коржавин. Мог, но все-таки не был. Не был ослеплен до конца, потому что научился смотреть на происходящее глазами.

Научиться-то он научился. Но уметь это далось ему нелегко. И не сразу.

## 6

Умер Сталин, прошел XX съезд, хлынула волна реабилитации. Чудом выжившие счастливицы, возвращавшиеся после семнадцати (а кто и больше) лет лагерей, казались выходцами с того света. Те, мимо кого волею обстоятельств чашу сию пронесло стороной, испытывали по отношению к вернувшимся невольное чувство вины. В обществе возникло даже полуосознанное ощущение, что все, оказавшиеся за той чертой, попали туда, потому что были лучше, честнее, смелее тех, кто уцелел. Отчасти это выразилось и в поэзии тех лет:

...И я-то знаю: он во многом  
Был безупречней и сильней.

Я знаю, если б не случится  
Разлуке, горшей из разлук,  
Я мог бы тем одним гордиться,  
Что это был мой первый друг.  
А. Твардовский. *За далью — даль.*

• Впрочем, Твардовский тогда был едва ли не единственным, кто отважился наконец переступить «рубеж запретной зоны». Другие официальные поэты все еще опасались приближаться к этому рубежу.

Существовал, правда, — уже тогда — Самиздат. Но и в неофициальной, неподцензурной поэзии, распространявшейся без помощи печатного станка, люди, возвращавшиеся из лагерей, как правило, представляли перед читателем в терновом венце мученика, а иногда даже и в ореоле святости.

В этом потоке (хотя слово «поток» тут вряд ли уместно, поскольку даже и в Самиздате это был не поток, а слабенький ручеек) резко выделялись две вещи: стихотворение Ярослава Смелякова «Курсистка» и поэма Н. Коржавина «Танька».

Даже в облике героинь этих двух поэтических произведений было много общего.

У Смелякова:

Ни стирать, ни рожать не умела,  
Никакая не мать, не жена —

Лишь одной революции дело  
Понимала и знала она.

У Коржавина:

О, твое комсомольство!  
Без мебели всяких квартира,  
Где нельзя отдыхать —  
Можно только мечтать и гореть.  
Даже смерть отнеся  
К проявлениям старого мира,  
Что теперь неминуемо  
Скоро должны отмереть...

Еще больше общего было в отношении обоих поэтов к своей модели. И у того, и у другого отношение это было далеко от привычно восторженного. Оба были к своим героиням весьма суровы. Оба не столько возводили на пьедестал, сколько разоблачали их. И, право, трудно сказать, у кого из двоих это разоблачение было более беспощадным.

Но одно различие бросалось в глаза сразу.

Взгляд Смелякова на свою героиню, при том, что взгляд этот был исполнен самых противоречивых и сложных чувств, был — взглядом со стороны:

В том районе, просторном и новом,  
Получив, как писатель, жилье,  
В отделении нашем почтовом  
Я стою за спиною ее.

И слежу, удивляясь не слишком —  
Впечатленьями жизнь не бедна, —  
Как свою пенсионную книжку  
Сквозь окошко толкает она.

Коржавин смотрит на свою героиню как на живой кусок своей собственной жизни:

...И на этом кончается  
Длинная, грустная повесть.  
Я ее написал,  
Ненавидя,  
Страдая,  
Любя.  
Я ее написал,  
Озабочен грядущей судьбою.  
Потому что я прошлому  
Отдал немалую дань.  
Я ее написал,  
Непрерывной терзаемый болью, —  
Нелегко от себя отрывать  
Омертвевшую ткань.

Этому прошлому немалую дань отдал и Смеляков, о чем даже более, чем его юношеские стихи, свидетельствует поэма «Строгая любовь». Вряд ли я ошибусь, если скажу, что этому

прошлому отдали немалую дань все поэты той поры. Во всяком случае — те из них, чья юность пришлась на 30-е годы. Но связь Коржавина с этим прошлым, — отчасти мы в этом уже убедились, — была более прочной, более кровной, что ли. Ему гораздо труднее, чем многим, далось перерезать пуповину, связывавшую его с этим прошлым.

Несмотря на некоторую разницу в возрасте, всем своим существом, всей своей духовной конституцией он принадлежал к той плеяде поэтов, которых сейчас именуют «поэтами-ифлийцами».

Я тоже буду пользоваться этим определением, потому что оно уже вошло в наш литературно-критический обиход, и — худо ли, хорошо — все-таки выражает некую социально-историческую реальность.

Коржавин — единокровный (младший) брат этих «лобастых мальчиков невиданной революции», как называл себя и своих сверстников Павел Коган.

Кстати, именно он (Павел Коган) ярче и острее, чем кто другой, выразил мироощущение всей этой плеяды. И не случайно именно к нему Коржавин с самой ранней юности испытывал такой жгучий интерес. Интерес поистине необычайный, ибо в нем мощное притяжение странным образом сочеталось со столь же сильным и резким отталкиванием.

В январе — феврале 1948 года Коржавин написал поэму «Утверждение», посвященную Павлу Когану. Двадцать лет спустя, включая эту поэму в свой рукописный сборник, о котором я уже упоминал, он снабдил ее следующим предисловием:

«...Это произведение заняло большое место в моей юности, в моих исканиях и извращениях; и вообще интересно тем, до чего может дойти человек в фанатической приверженности словам, обозначающим идеи, в попытке оправдать то, чего нельзя оправдать, и видеть так, как, нельзя видеть... Многие вещи я теперь зачеркнул из понятного стремления к цельности, но не считаю себя вправе скрывать их от читателя, ибо мне это слишком было бы выгодно. Поэтому я их, хотя и в зачеркнутом виде, сохраняю как свидетельство обвинения против себя.

Повторяю, это я делаю в виде исключения, ибо в принципе претендую на эстетический, а не сугубо исторический интерес».

Такое исключение из принятого для себя правила он сделал только однажды. И в высшей степени знаменательно, что исключение это было сделано для поэмы о Павле Когане. Да, да, поэма была не только посвящена Павлу Когану, не только предварялась эпиграфом из его стихов. Это была поэма о нем в самом прямом и точном смысле этого слова. Павел Коган был ее героем, ее главным действующим лицом, о чем автор ставил читателя в известность сразу, в самых первых ее строках:

Я не искал ни разу тем —  
Всегда во мне рождалась тема.  
Он просто оказался тем,  
Кого ждала моя поэма.  
Был довоенный мирный век,  
И века этого моложе  
Жил беспокойный человек,  
Во многом на меня похожий.  
Он от меня неотделим,  
Хоть мы и разнимся довольно.  
Он не обидится, что с ним  
Я обращаться буду вольно.  
Так много общего у нас,  
Хотя и с топотом зловещим  
Прут в дверь по-новому сейчас  
Переосмысленные вещи.

Но Павел Коган стал героем этой поэмы не только потому, что автор ощущал кровную свою близость с этим человеком, сознавал себя чуть ли не его двойником. Двадцать лет спустя, в 1968-м, в крохотном предисловьице к поэме (в рукописном сборнике, о котором я говорил, она не только сопровождалась послесловием, но и предварялась несколькими вступительными фразами) Коржавин охарактеризовал это свое сочинение как «наивную попытку человечность и поэзию соединить со сталинизмом».

Павел Коган был поистине идеальной фигурой, в которой эта безумная попытка могла быть персонифицирована. С одной стороны, он гораздо яснее, чем многие его сверстники, сознавал чудовищную бесчеловечность всей повседневности сталинского режима. С другой — всей кожей, всеми нервами чувствуя трагическую обреченность этого выбора, он гораздо дальше, чем они все, зашел в своей готовности принять происходящее как жестокую историческую необходимость:

Я понимаю все. И я не спорю.  
Высокий век идет железным трактом.  
Я говорю: «Да здравствует история!» —  
И голову падаю под трактор.

С той поры, когда были написаны эти стихи, прошло полвека (и какого века!). Мальчики, от имени которых говорил Павел Коган, давно лежат в земле. Выросли и даже успели состариться другие мальчики. И вот сейчас они, эти внезапно поумневшие на старости лет мальчики, живущие в ином мире, в иной исторической реальности, судят тех, «погибших возле речки Шпрее». Судят свысока, презрительно, даже безразлично, не давая себе труда хоть попытаться представить, до каких мыслей додумались бы те же Павел Коган, Николай Майоров, Михаил Кульчицкий, случись им вместе с нами пройти через сороковые, пятидесятые, шестидесятые и дожить до восьмидесятых.

Могут возразить, что такая попытка экстраполировать духовное развитие человека, жизнь которого оборвалась полвека назад, была бы чистейшей воды спекуляцией. Мыслимое ли это дело — фантазировать, как и е стихи сочинил бы Павел Коган, доживи он до наших времен!

Это верно, конечно. Стихи «поэтов-ифлийцев», которые по не зависящим от них причинам не были ими написаны, нам прочитать не дано.

Но кое-что мы все-таки пойдем и про них, прочитав написанные в 60-х стихи их «меньшого брата».

## 7

В 1960 году Коржавин написал программное стихотворение «Инерция стиля»:

Стиль — это мужество. В правде себе признаваться!  
Все потерять, но иллюзиям не предаваться...

Кто осознал поражение, — того не разбили...  
Самое страшное — это инерция стиля.

К тому времени он давно уже расстался со своими юношескими иллюзиями, «осознал поражение». Но ностальгическая память о том, «с чего начиналось, чем бредило детство», долго еще его не покидала:

Уходит со сцены мое поколение  
С тоскою — расплатой за те озаренья.  
Нам многое ясное не было видно,  
Но мне почему-то за это не стыдно.  
Мы видели мало, но значит — немало,  
Каким нам туманом глаза застилало,  
С чего начиналось, чем бредило детство,  
Какие мы сны получили в наследство.

Летели тачанки, и кони храпели,  
И гордые песни казнимые пели,  
Хоть было обидно стоять, умирая,  
У самого входа, в преддверии рая.  
Еще бы немного напора такого —  
И снято проклятие с рода людского.  
Последняя буря, последняя свалка —  
И в ней ни врага и ни друга не жалко.

С еще большей пронзительностью и силой звучит эта ностальгическая нота в стихотворении «Комиссары» (1960). И даже в поэме «Наивность» (1963), где едва ли не впервые романтические герои его юности представлены не жертвами, а палачами, вновь возникает все та же тема своей кровной связи с ними:

Они — в истоке всех несчастий  
 Своих и наших... Грех не мал.  
 Но — не сужу....  
 Я сам причастен.  
 Я это тоже одобрял...  
 Прости меня, прости, Отчизна,  
 Что я не там тебя искал.  
 Когда их выперло из жизни,  
 Я только думать привыкал.  
 Немного было мне известно,  
 Но всё ж казалось — я постиг.  
 Их выпирали так нечестно,  
 Что было ясно — честность в них.  
 За ними виделась мне грозы,  
 Любовь... И где тут видеть мне  
 За их бедой — другие слезы,  
 Те, что отлились всей стране.  
 Пред их судьбой я не виновен.  
 Я ею жил, о ней — кричал.  
 А вот об этой — главной — крови  
 Всегда молчал. Ее — прощал.  
 За тех юнцов я всей душой  
 Болел. В их душу телом влез.  
 А эта кровь была чужою,  
 И мне дороже был прогресс...  
 Грех — кровь пролить из веры в чудо.  
 А кровь чужую — грех вдвойне.  
 А я молчал...  
 Но впредь — не буду:  
 Пока молчу — та кровь на мне.

«Главная кровь», о которой говорит здесь поэт, — это кровь жертв «великого перелома», боль и кровь раздавленного, растоптанного, уничтоженного крестьянства.

Сегодня споры о том, какая кровь главная, какая неглавная, тоже стали уже достоянием той «полемики журнальной», о которой с такой презрительной брезгливостью говорил Баратынский.

Слышнее всего тут голоса публицистов, любящих при всяком удобном и неудобном случае подчеркивать разницу между жертвами террора конца 20-х и середины 30-х годов. Разницу эту они видят в том, что первым их страшная участь выпала ни за что ни про что. Что же касается вторых, то они сполна расплатились за все свои грехи. (Или — за грехи отцов.)

Я не стану называть поименно авторов всех этих публицистических выступлений, тем более что имя им — легион. Упомяну только Станислава Куняева, который высказался на эту тему, пожалуй, с наибольшей откровенностью:

Сын за отца не ответчик, и все же  
 Тот, кто готовит кровавое ложе,  
 Некогда должен запачкаться сам...

Ежели кто на крови поскользнулся  
Или на лесоповале очнулся —  
Пусть принесет благодарность отцам.

Ладно еще, если бы он просто констатировал это как некую горькую истину. Но то-то и дело, что о страшной судьбе тех, кто «на крови поскользнулся» (не только их самих, но даже и их детей), Куняев говорит с нескрываемым злорадством, я бы даже сказал — со сладострастным упоением:

Попировали маленько — и хватит.  
Вам ли не знать, что история катит  
Не по коврам, а по хрупким костям.  
Славно и весело вы погостили  
И растворились в пространствах России,  
Дачи оставили новым гостям.

Чувствуется, что автор испытывает глубокое мстительное удовлетворение: дескать, поделом вору и мука.

По всем своим внешним признакам (стихотворный размер, рифма) это сочинение Куняева подходит под рубрику, обозначенную Баратынским как «поэма сжатая поэта». Но по типу мышления оно, конечно, должно быть отнесено к разряду «журнальной полемики». И дело даже не в том, что в этом своем стихотворении автор твердит «уж ведомое всем», а в некоторой, мягко говоря, сомнительности его нравственной позиции. Попытка установить некую иерархию беды, иерархию горя, иерархию страдания бесконечно чужда и даже враждебна самому духу поэзии.

Тень этой иерархии мелькнула и у Коржавина: она в самом этом делении пролитой крови на «главную» и «неглавную». Но Коржавин, в отличие от Куняева, судит не других, а себя.

Наивность взрослых — власть стихии.  
Со здравым смыслом — нервный бой.  
Прости меня. Прости, Россия,  
За всё, что сделали с тобой.  
За вдохновенные насилья,  
За хитромудрых дураков.  
За тех юнцов, что жить учили  
Разумных, взрослых мужиков...

Во имя блага и свершенья  
Надежд несбыточных Земли.  
Во имя веры в положенья  
Трех скучных книжек, что прочли...

Когда неслись, как злые ливни,  
Врагам возможным смертью мстя,  
Вполне наивны.  
Так наивны,  
Как немцы — десять лет спустя.



Да, там, на снежном новоселье,  
Где в степь состав сгружал конвой.  
Где с редким мужеством  
Терпели —  
И детский плач, и женский вой.

Далеко же он должен был уйти от романтических грез своей юности, чтобы «наивных», яростных комсомольцев 20-х годов прямо уподобить фашистским нелюдям, загонявшим женщин и детей в газовые камеры.

Но, в отличие от Куняева, даже и тут он не дает воли темному, злomu чувству мстительного удовлетворения:

Не мстить зову — довольно мстили.  
Уймись, страна! Устройся, быт.  
Мы все друг другу заплатили  
За всё давно, —  
И счет закрыт.  
Ну что с них взять —  
С больных и старых.  
Уж было всё на их веку.  
Я с ними сам на тесных нарах  
Делил баланду и тоску...

Не в христианском всепрощении тут дело. И не о том я веду речь, кто ближе к истине — злобствующий Куняев или беспощадно рассчитывающийся со своей собственной жизнью Коржавин.

Смысл моего противопоставления не в том, чтобы решить, как следует нам сегодня понимать и истолковывать нашу историю: по-куняевски или по-коржавински. Речь не об истории, а о поэзии. О том, в чем состоит истинное назначение поэта.

«Зачем переключивать в стихи то, что очень кстати в политической газете», — еще полтора года лет назад недоумевал Вяземский.

Стихи Коржавина «на политические темы» покоряют читателя не идеями (политическими или историософскими), которые он «переключивает в стихи», а тем, что эти идеи предстают перед нами как вехи его судьбы. А факты и события истории страны входят в них лишь потому, что они стали фактами и событиями не просто биографии поэта, но — биографии его души.

В декабре 1955 года один молодой человек, пишущий стихи и мечтающий поступить в Литинститут, обратился к Б. Л. Пастернаку с просьбой дать оценку его поэтическим опытам. Он готов был выслушать любой приговор, даже самый суровый. Но приговора не последовало. Великий поэт ответил начинающему стихотворцу письмом, в котором довольно

раздраженно объяснял ему, что тот со своей просьбой обратился не по адресу:

«Когда мои читатели и почитатели обращаются ко мне с просьбами, подобными Вашей, я с сожалением и раздражением устанавливаю, что, значит, они в недостаточной степени читатели и почитатели мои, потому что не поняли во мне главного: что я «стихов вообще» не люблю, в поэзии, как ее принято называть, не разбираюсь, что я не судья, не ценитель в этой области...

Если Вы разделите людей на партийных и беспартийных, мужчин и женщин, мерзавцев и порядочных — это все еще не такие различные категории, не такие противоположности, как отношение между мною и противоположным мне миром, в котором любят, ценят, понимают, смакуют и обсуждают стихи, пишут их и читают. Этот мир мне полярный и враждебный, и ту же ноту враждебности вызывает во мне Ваша просьба, Ваша поддержка царящего предрассудка, Ваше участие в общем заблуждении...»

Далее, сказав все-таки несколько ободряющих слов по поводу присланных ему стихов («Бог и природа не обидели Вас. Ваша тяга к художественному выражению не заблуждение. Некоторые попытки Вам удались»), он заключает:

«Больше ничего я на эту тему сказать не могу, не потому, что Вы недостаточно одарены, а потому, что вера в то, что в мире существуют стихи, что к писанию их приводят способности, и прочая, и прочая, — знахарство и алхимия.

Вы напрасно (и это меня удивляет) обратились ко мне. Обратитесь к алхимикам. Их множество».

Может показаться, что этот ошеломляющий своей неожиданностью ответ (к кому еще было обращаться со своими стихами молодому стихотворцу, если не к самому любимому, самому чтимому им поэту современности?) связан с каким-то сиюминутным раздражением, порожден какими-то личными, привходящими обстоятельствами, — говоря проще, что ответ оказался именно таким, потому что стихи начинающего автора попались «мэтру» в дурную минуту и сам ответ этот сочинялся, что называется, под горячую руку.

На самом деле это, конечно, не так, хотя «привходящие обстоятельства» тоже были. Этими привходящими обстоятельствами можно считать уродливую атмосферу нашей тогдашней (да и сегодняшней, пожалуй, тоже) литературной жизни, когда принадлежность к писательскому клану обозначает не призвание, не готовность принести в жертву этому призванию свое личное существование, а — в лучшем случае профессию, в худшем — социальное положение, в какой-то степени даже привилегированное.

Пастернаку, надо полагать, дикими и враждебными самой сути художественного творчества представлялись все аксессуары этой литературной жизни, — такие, например, как «творческая командировка», или «Дом творчества», куда поэт

приезжает на месяц или два, чтобы к сроку сочинить очередной цикл лирических стихов, поскольку срок этот диктуется условиями издательского договора.

Но, помимо этих «привходящих обстоятельств», были у него тут и другие мотивы, гораздо более серьезные. Это — активная неприязнь, даже ненависть к тому, что он в своем письме называет знахарством и алхимией. «Алхимия» — это все, что в привычном нашем словоупотреблении связано с понятием «поэтической одаренности», под которой разумеют лишь способность к словесной выразительности, к изобретению новых формальных приемов, к острой метафоричности мышления и т. д. и т. п.

Такое понимание поэтического творчества Пастернака было враждебно по самой своей сути. Он был глубоко убежден, что даже отбор, окончательно утверждающий данное слово, данную строчку или данную страницу из сотни возможных, «производит не вкус, не гений автора, а тайная, побочная, никогда вначале не известная, всегда с опозданием распознаваемая сила, видимость безусловности, сковывающая произвол автора, без чего он запутался бы в безмерной свободе своих возможностей». (Из того же письма.)

Именно вот эта загадочная, «никогда вначале не известная, всегда с опозданием распознаваемая сила», по убеждению Пастернака, побуждает художника творить:

«В одном случае это трагический задаток, присутствие меланхолической силы, впоследствии сказывающейся в виде преждевременного самоубийства, в другом — черта предвидения, раскрывающаяся потом посмертной победой, иногда только через сто лет, как было со Стендалем. Но во всех случаях именно этой стороной своего существования, обусловившей тексты, но не в них заключенной, разделяет автор жизнь поколения, участвует в семейной хронике века, а это самое важное, его место в истории, этим именно велик он и его творчество». (Из того же письма.)

Говоря проще, некую первичную, абсолютную ценность имеет внутренняя, духовная жизнь художника. А создаваемые им художественные тексты — это как бы побочный продукт этой его внутренней, духовной жизни, и ценность их для нас заключается лишь в том, что они являются как бы подтверждением подлинности этой внутренней жизни, ее материальным проявлением и выражением.

Власть этой постоянно происходящей в душе поэта внутренней работы над всей его жизнью и судьбой так велика, что она может обречь его на страдания отнюдь не только физические. Она может обречь его на мучительное, трагическое сознание своей человеческой ущербности. («И я — урод, и счастье сотен тысяч не ближе мне пустого счастья ста?..», «Всю жизнь я быть хотел как все...» — признавался Пастернак. И отчаивался: «Но как мне быть с моей грудной клеткой?..»)

Именно вот с этой загадочной силой, движущей душой поэта, связана столь часто присущая художнику «черта предвидения, раскрывающаяся потом посмертной победой». Именно с нею связано то, что мысль, ошеломляющая современников своей новизной, ошарашивающая и часто даже возмущающая их в первом своем приближении («как дева юная темна») является перед ними воплощенной «в поэму сжатую поэта».

Творчество Н. Коржавина, как явствует из множества приводившихся мною примеров, щедро отмечено этой «чертой предвидения», о которой говорил Пастернак. Многие из его предвидений уже сбылись, иные сбываются сейчас на наших глазах. Но были среди них и такие, которые даже и сейчас еще с трудом вмещаются в наше сознание.

Трудно пробиваться к поэзии сквозь тотальную ложь. Но еще труднее оставаться поэтом, когда в этом насквозь лживом мире происходит событие, которое самой своей грандиозностью, казалось бы, должно слить все сердца в едином порыве. А твое сердце — молчит. И ты думаешь невольно: ну что я за урод такой, не могу чувствовать заодно со своим народом даже в те редкостные моменты, когда для всенародного ликования как будто бы есть вполне реальные основания.

Поразителен в этом смысле поэтический отклик Н. Коржавина «На полет Гагарина»:

Мне жаль вас, майор Гагарин,  
Исполнивший долг майора.  
Мне жаль... Вы хороший парень,  
Но вы испортитесь скоро.  
От этого лишнего шума,  
От этой сыгранной встречи  
Вы сами начнете думать,  
Что вы совершили нечто...

А впрочем, глядите: дружно  
Бурлит человечья плазма.  
Как будто всем космос нужен,  
Когда у планеты — астма.  
Гремите вовсю, орудья!  
Радость сия — велика есть:  
В Космос выносят люди  
Их победивший  
Хаос.

Даже откликаясь на это, единственное в своей неповторимости событие века, он имел несчастье чувствовать не «заодно со всеми». Он и сам хотел бы чувствовать иначе. Да не выходит:

...Москва встречает героя,  
А я его — не встречаю.  
Хоть вновь для меня невольно

Остановилось время,  
Хоть вновь мне горько и больно  
Чувствовать не со всеми.

Больше всего это удивительное стихотворение поражает не тем, что поэт нашел в себе мужество «пойти против течения». Отличие этих стихов от множества других сочинений на эту тему не в том, что все были радостно «за», а вот он один — «против». Главное их отличие в том, что поэт честно пытался «вытащить из себя» свои, лишь только им одним владеющие мысли и чувства, какими бы нелепыми и даже диковинными ни казались они всем его соотечественникам и современникам. И делал он это не потому, что сознательно запланировал себе такую причудливую стезю, а просто потому, что не мог иначе:

Я не был никогда аскетом  
И не мечтал сгореть в огне.  
Я просто русским был поэтом  
В года, доставшиеся мне.

Я не был сроду слишком смелым  
Или орудьем высших сил.  
Я просто знал, что делать. Делал,  
А было трудно — выносил.

И вот человек, который всю свою сознательную жизнь так думал и так чувствовал, так ощущал себя и свое место в мире, — этот до мозга костей русский интеллигент, не мыслящий себя и свою жизнь вне России, вне ее культуры и ее исторической судьбы, вынужден теперь жить вдали от родины.

Не знаю, как смог бы я найти слова, чтобы хоть отчасти выразить всю протivoестественность случившегося. К счастью, такие слова уже давно нашел Пушкин:

Беда стране, где раб и льстец  
Одни приближены к престолу,  
А небом избранный певец  
Молчит, потупив очи долу.

*Бенедикт САРНОВ*

## СОДЕРЖАНИЕ

От автора . . . . .	3
---------------------	---

### СТИХИ

#### I. Предпутье

«Еще в мальчишеские годы...» . . . . .	9
Детство кончилось . . . . .	9
Поездка в Ашу . . . . .	10
«От судьбы никуда не уйти...» . . . . .	10
Стихи о детстве и романтике . . . . .	10
Восемнадцать лет . . . . .	11
Гейне . . . . .	12
Знамена . . . . .	12
Зависть . . . . .	13
«Мы родились в большой стране, в России!..» . . . . .	14
16 октября . . . . .	14
Враг . . . . .	15
Усталость . . . . .	16
«Нет! Так я просто не уйду во мглу...» . . . . .	16
«Меня, как видно, Бог не звал...» . . . . .	16
«Если можешь неумно...» . . . . .	17
«Знаешь, тут не звезды...» . . . . .	17
«Мы мирились порой и с большими обидами...» . . . . .	18
«Предельно краток язык земной...» . . . . .	18
«Встреча — случай. Мы смотрели...» . . . . .	18
«Вспомнишь ты когда-нибудь с улыбкой...» . . . . .	19
«Есть у тех, кому нету места...» . . . . .	20
«Не надо, мой милый, не сетуй...» . . . . .	20
«Я пока еще не знаю...» . . . . .	21
«От дурачества, от ума ли...» . . . . .	21
На речной прогулке . . . . .	21
«Весна, но вдруг исчезла грязь...» . . . . .	22
«Мир еврейских местечек...» . . . . .	22
Русской интеллигенции . . . . .	23
Кропоткин . . . . .	24
Смерть Пушкина . . . . .	25
«Я раньше видел ясно...» . . . . .	25

#### II. В наши трудные времена

«В наши трудные времена...» . . . . .	27
«О, Господи! Как я хочу умереть...» . . . . .	27
«Паровозов голоса...» . . . . .	28

В Сибири . . . . .	29
«Стопка книг... Свет от лампы... Чисто...» . . . . .	29
Друзьям . . . . .	30
К моему двадцатипятилетию . . . . .	31
В трудную минуту . . . . .	32
«Все это чушь: в себе сомненье...» . . . . .	32
Легкость . . . . .	33
«Нелепые ваши затеи...» . . . . .	34
«Поэзия не страсть, а власть...» . . . . .	34
«Не верь, что ты поэта шире...» . . . . .	34
«Хотя б прислал письмо ошибкой...» . . . . .	35
Генерал . . . . .	35
«Небо за пленкой серой...» . . . . .	37
Возвращение . . . . .	38
«Сочась сквозь тучи, льется дождь осенний...» . . . . .	40
На побывке . . . . .	39
Встреча с Москвой . . . . .	41
Вступление в поэму . . . . .	42
«Мне часто бывает трудно...» . . . . .	43
«Как ты мне изменяла...» . . . . .	44
Влажный снег . . . . .	
1. «Ты б радость была и свобода...» . . . . .	44
2. «Я так живу, как ты должна...» . . . . .	45
3. «Полон я светом, и ветром, и страстью...» . . . . .	45
4. «Один. И ни жены, ни друга...» . . . . .	46
5. «Мы даль открыли друг за другом...» . . . . .	46
6. «А это было в настоящем...» . . . . .	47
Через год . . . . .	47
На смерть Сталина . . . . .	48
Невеста декабриста . . . . .	49
«Вновь, как в детстве...» . . . . .	52
«Мне без тебя так трудно жить...» . . . . .	52
«За последнею точкой...» . . . . .	52
«Вот говорят: любовь — мечты, и розы...» . . . . .	53
«Я в сказки не верю. Не те уж года мне...» . . . . .	55
«Когда одни в ночи лесной...» . . . . .	55
Утро в лесу . . . . .	55
«Ты разрезаешь телом воду...» . . . . .	56
«И прибои, и отбои...» . . . . .	56
«Неустанная радость сменила усталость...» . . . . .	56
Осень в Караганде . . . . .	57
Церковь Покрова на Нерли . . . . .	
I. «Нет, не с тем, чтоб прославить Россию...» . . . . .	58
II. «По какой ты скроена мерке?...» . . . . .	60
«Я не был никогда аскетом...» . . . . .	60
Подмосковная платформа в апреле . . . . .	61
Рассудочность . . . . .	61
«Я жил не так уж долго...» . . . . .	62
Трубачи . . . . .	63
«Надоели потери...» . . . . .	64

### III. Приобщение

«Всё будет, а меня не будет...» . . . . .	66
Осень . . . . .	66
«Шла вновь назад в свою судьбу плохую...» . . . . .	68

Ленин в Горках . . . . .	68
«Роса густа, а роща зелена...» . . . . .	69
Песня, которой тысяча лет . . . . .	70
Баллада о собственной гибели . . . . .	73
«Я пью за свою Россию...» . . . . .	73
«Пусть рвутся связи, меркнет свет...» . . . . .	74
Стихи о ремесле . . . . .	75
Времена меняются . . . . .	75
Вариации из Некрасова . . . . .	76
«Наверно, я не так на свете жил...» . . . . .	76
«Ты сама проявила похвальное рвенье...» . . . . .	77
Рафаэлю . . . . .	77
Инерция стиля . . . . .	78
«Ни трудом и ни доблестью...» . . . . .	78
Комиссары . . . . .	79
Ленинград . . . . .	80
«Пусть с каждым днем тебе труднее...» . . . . .	80
«Он собирался многое свершить...» . . . . .	81
Дети в Освенциме . . . . .	81
«У меня любимую украли...» . . . . .	82
«Брожу целый день по проспектам прямым...» . . . . .	82
Каталог «Современных записок» . . . . .	84
Современники . . . . .	85
Братское кладбище в Риге . . . . .	88
На швейной фабрике в Тирасполе . . . . .	89
«Видать, была любовью...» . . . . .	90
Землячкам . . . . .	91
«Мой ритм заглох. Живу как перед казнью...» . . . . .	93
Танцы . . . . .	93
На полет Гагарина . . . . .	95
«Это чувство, как проказа...» . . . . .	98
Через много лет . . . . .	99
Масштабы . . . . .	99
На концерте Вагнера . . . . .	100
«Заслуг не бывает. Не верьте...» . . . . .	101
«Ты летишь, и мне летится...» . . . . .	102
Ты идешь . . . . .	102
«Слепая осень. Город грязь топтал...» . . . . .	103
«Освободите женщину от мук...» . . . . .	104
Тем, кого я любил в юности . . . . .	104
Подонки . . . . .	106
В Молдавии . . . . .	106
«В Кишиневе снег в апреле...» . . . . .	108
«Стал я нервным и мнительным...» . . . . .	110
«Все — загнаны. Все — орудья...» . . . . .	111
«Перевал. Осталось жить немного...» . . . . .	111
Гамлет . . . . .	112
Дорога . . . . .	112
Церковь Спаса на Крови . . . . .	113
«Хоть вы космонавты — любимчики вы...» . . . . .	115
Новоселье . . . . .	
I. «В снегу деревня. Холм в снегу...» . . . . .	116
II. «Тот свет иль этот? Рай иль ад?...» . . . . .	117
Апокалипсис . . . . .	117
«До всего, чем бывал взволнован...» . . . . .	118
Друзьям . . . . .	119



«Что со мною случилось?..» . . . . .	120
«От созидательных идей...» . . . . .	120
Двадцатые годы . . . . .	121
«К себе, к себе — каким я был и стал...» . . . . .	122
Последний язычник . . . . .	123
«Люди могут дышать...» . . . . .	125
В защиту прогресса . . . . .	126
Злоба дня . . . . .	128
Гагринские элегии . . . . .	129
1. «Осенним днем лежим под солнцем летним...» . . . . .	128
2. «Осенним днем лежим под солнцем летним...» . . . . .	129
3. «Блаженство здесь, — на странном солнцепеке...» . . . . .	130
«Страх — не взлет для стихов...» . . . . .	131
Родине . . . . .	132
22 июня 1971 года . . . . .	133
«Иль впрямь я разлюбил свою страну?...» . . . . .	134
«Неужели птицы пели...» . . . . .	134
«Уже июнь. Темней вокруг кусты...» . . . . .	135
«Люди пашут каждый раз опять...» . . . . .	137
Непоэтическое стихотворение . . . . .	138
«То свет, то тень...» . . . . .	138
«Я плоть, Господь... «Но я не только плоть...» . . . . .	140
«Никакой истерики...» . . . . .	140
«Довольно!.. Хватит!.. Стала ленью грусть...» . . . . .	141
«Ах ты жизнь моя — морок и месиво...» . . . . .	142
«Бог за измену отнял душу...» . . . . .	142
Эмигрантское . . . . .	142
Кое-кому . . . . .	143

#### IV. На жизнь гневись не очень

Письмо в Москву . . . . .	144
Радиослушателям «Свободы» . . . . .	146
«Что будет — будет... мутен взгляд...» . . . . .	148
Кейп код . . . . .	149
«То ль кризис идей, то ль страстей...» . . . . .	150
В американском доме творчества	
I. «Все не зря... Столько мест...» . . . . .	151
II. «Моего ль это только заката...» . . . . .	153
III. Прощание с Яддо . . . . .	155
«Давно б я убрался с земли...» . . . . .	156
«На жизнь гневись не очень...» . . . . .	157
Флоридское . . . . .	157
На вечере поэтов . . . . .	158
Мечты исполнились . . . . .	159
Остороп . . . . .	159
Брайтонские брюзжания . . . . .	159
Виктору Некрасову . . . . .	160
Джон Сильвер . . . . .	162
В Африке . . . . .	165
Стихи о веревке . . . . .	166
«Дети, выросшие дети...» . . . . .	167
Наше время . . . . .	167
Пекинские надежды . . . . .	168
«Пошли болезни беспросветные...» . . . . .	169
News . . . . .	170
Вагон . . . . .	171

## V. Иронические стихи

Иван Калита . . . . .	172
Ода к трехсотлетию воссоединения Украины с Россией . . . . .	173
Еж и заяц . . . . .	174
Арифметическая басня . . . . .	175
Кибернетика . . . . .	176
На друга-поэта . . . . .	180
Памяти Герцена . . . . .	180
Подражание г-ну Беранжеру . . . . .	182
Реминисценция . . . . .	184
«Могу в Париж и Вену...» . . . . .	184
Песня отдельной лейб-казачьей сотни неизвестного эскадрона Западное, культурное . . . . .	185 186

## ПОЭМЫ

Танька . . . . .	189
По ком звонит колокол . . . . .	197
Конец века . . . . .	200
Наивность (5 стихотворений)	
I. «Наивность! Хватит умиления!..» . . . . .	211
II. «Наивность взрослых — власть стихии...» . . . . .	212
III. «Все для тебя. Гордись, отчизна...» . . . . .	213
IV. «Не мстить зову — довольно мстили...» . . . . .	214
V. «Они — в истоке всех несчастий...» . . . . .	215
Поэма существования . . . . .	216
Абрам Пружинер . . . . .	236
Поэма греха . . . . .	251
Московская поэма . . . . .	255
Сплетения . . . . .	268
Поэма причастности . . . . .	275
<i>Бенедикт Сарнов. Верность себе . . . . .</i>	285

## НАУМ КОРЖАВИН

### Время дано Стихи и поэмы

Зав. редакцией С. Князева

Редактор Ю. Розенблюм

Художественный редактор А. Моисеев

Технический редактор Г. Морозова

Корректоры М. Миримская, Л. Овчинникова

ИБ № 6942

Сдано в набор 23.01.91 с готовых диапозитивов. Подписано в печать 11.03.92.

Формат 60×88<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Гарнитура «Обыкновенная новая». Бумага типографская.

Печать высокая. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,01. Уч.-изд. л. 16,84. Тираж 3000 экз.

Изд. № 1-3993. Заказ 1821. «С» — 029.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература».

107882. ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Московская типография № 4. Министерство печати и информации РФ.

129041, Москва, Б. Переяславская, 46.



